Harvard College
Library

FROM THE FUND BEQUEATHED BY

Archibald Cary Coolidge

Class of 1887

PROFESSOR OF HISTORY
1908–1928

DIRECTOR OF THE UNIVERSITY LIBRARY
1910–1928

И. А. БУНИНЪ

ТЕМНЫЯ АЛЛЕИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
НЬЮ-ІОРКЪ

И. А. БУНИНЪ

ТЕМНЫЯ АЛЛЕИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
НЬЮ-ЙОРКЪ

SCan 4336.7.35
HARVARD UNIVERSITY LIBRARY
JUL 8 1943
Coolidge Fund

Всѣ права сохранены за авторомъ.
Copyright 1943 by author

ПАРИЖ — ПРИМОРСКІЯ АЛЬПЫ

I.

ТЕМНЫЯ АЛЛЕИ

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрѣзанной многими черными колеями, к длинной избѣ, в одной связи которой была казенная почтовая станція, а в другой частная горница, гдѣ можно было отдохнуть или переночевать, пообѣдать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидѣл крѣпкій мужик в туго подпоясанном армякѣ, серьезный и темноликій, с рѣдкой смоляной бородой, похожій на стариннаго разбойника, а в тарантасѣ стройный старик военный в большом картузѣ и в николаевской шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с бѣлыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит, и вся наружность имѣла то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствованія; взгляд был тоже вопрошающій, строгій и вмѣстѣ с тѣм усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапогѣ с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбѣжал на крыльцо избы.

— Налѣво, ваше превосходительство, — грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на порогѣ от своего высокаго роста, вошел в сѣнцы, потом в горницу налѣво.

В горницѣ было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в лѣвом углу, под ним покрытый чистою суровой скатертью стол, за столом чисто вымытыя лавки; кухонная печь, занимавшая дальній правый угол, ново бѣлѣла мѣлом; ближе стояло нѣчто вродѣ тахты, покрытой пѣгими попонами и отвалом упиравшейся в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Пріѣзжій сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнѣе в одном мундирѣ и в длинных сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел блѣдной худой рукой по головѣ — сѣдые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-гдѣ мелкіе слѣды оспы. В горницѣ никого не было, и он непріязненно кликнул, пріотворив дверь в сѣнцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслѣд затѣм в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губѣ и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом, рисовавшимся под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?

Пріѣзжій мельком глянул на ея округлыя плечи и на легкія ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно отвѣтил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что-ж так? Вдова, что-ли, что сама ведешь дѣло?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо-же чѣм-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, пріятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрѣла на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю, — скромно отвѣтила она. — Вѣдь при госпожах выросла, как не умѣть себя прилично держать, Николай Алексѣевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснѣл:

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексѣевич, — отвѣтила она.

— Боже мой, Боже мой, — сказал он, садясь на лавку и удивленно глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лѣт мы не видались? Лѣт тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексѣевич. Мнѣ сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

— Вродѣ этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и разсѣянность его исчезли, он встал и рѣшительно заходил по горницѣ, глядя на пол. Потом остановился и, краснѣя сквозь сѣдину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебѣ с тѣх самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мнѣ господа вскорѣ послѣ вас вольную дали.

— А гдѣ жила потом?

— Долго разсказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нѣт, не была.

— Почему? При такой красотѣ, которую ты имѣла?

— Не могла я этого сдѣлать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что-ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас любила.

Он покраснѣл до слез и, нахмурясь, опять зашагал.

— Все проходит, мой друг. Любовь, молодость — все, все. Исторія пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книгѣ Іова? «Как о водѣ протекшей будешь вспоминать».

— Что кому Бог дает, Николай Алексѣевич. Молодость у всякаго проходит, а любовь — другое дѣло.

Он поднял голову и, остановясь, болѣзненно усмѣхнулся:

— Вѣдь не могла же ты любить меня весь вѣк!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нѣт прежняго, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а вѣдь правда, очень безсердечно вы меня бросили, — сколько раз я хотѣла руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Вѣдь было время, Николай Алексѣевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня помните как? И все стихи мнѣ изволили читать про всякія темныя аллеи, — прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. —Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какіе глаза! Помнишь, как на тебя всѣ заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отмѣнно хороши. И вѣдь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть?

— А все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы Бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и пріостановилась:

— Нѣт, Николай Алексѣевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свѣтѣ в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мнѣ вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, — отвѣтил он, отходя от окна уже со строгим лицом. — Одно тебѣ скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что опять, может быть, задѣваю твое самолюбіе, но скажу откровенно, — жену я без памяти любил. А измѣнила, бросила меня еще оскорбительнѣй, чѣм я тебя. Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него ни возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совѣсти... Впрочем все это тоже самая обыкновенная, пошлая исторія. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебѣ самое дорогое, что имѣл в жизни.

Она подошла и поцѣловала у него руку, он поцѣловал у нея.

— Прикажи подавать.

Когда поѣхали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои послѣднія слова и то, что поцѣловал у нея руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Развѣ неправда, что она дала мнѣ лучшія минуты жизни?»

К закату проглянуло блѣдное солнце. Кучер гнал рысцой, все мѣняя черныя колеи, выбирая менѣе грязныя, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядѣла в окно, как мы уѣзжали. Вѣрно, давно изволите знать ее?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатѣет. Деньги в рост дает.

— Это ничего не значит.

— Как не значит! Кому-ж не хочется получше пожить! Если с совѣстью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал во время — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как-бы не опоздать нам к поѣзду...

Низкое солнце желто свѣтило на пустыя поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядѣл на мелькавшія копыта, сдвинув черныя брови, и думал:

— Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшія минуты. «Кругом шиповник алый цвѣл, стояли темных лип аллеи...» Но, Боже мой, что-же было-бы дальше? Что если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургскаго дома, мать моих дѣтей!

И, закрывая глаза, качал головой.

20.X.38.

КАВКАЗ

Пріѣхав в Москву, я воровски остановился в незамѣтных номерах в переулкѣ возлѣ Арбата и жил томительно, затворником — от свиданія до свиданія с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила быстро, со словами:

— Я только на одну минуту...

Она была блѣдна прекрасной блѣдностью любящей, взволнованной женщины, голос у нея срывался, и то, как она, бросив куда попало зонтик, спѣшила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом.

— Мнѣ кажется, — говорила она, — что он что-то подозрѣвает, что он даже знает что-то, — может, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на все способен при его жестоком, самолюбивом характерѣ. Раз он мнѣ прямо сказал: «Я ни перед чѣм не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» Теперь он почему-то слѣдит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря, но ради Бога, будьте терпѣливы!

План наш был дерзок: уѣхать в одном и том же поѣздѣ на кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсѣм диком мѣстѣ три-четыре недѣли. Я знал это побережье, жил когда-то нѣкоторое время возлѣ Сочи, — молодой,

одинокій, — на всю жизнь запомнил тѣ осенніе вечера среди черных кипарисов, у холодных сѣрых волн... И она блѣднѣла, когда я говорил: «А теперь я там буду с тобой, среди диких чинаровых лѣсов, в горных джунглях, у тропическаго моря...» В осуществленіе такого плана мы не вѣрили до послѣдней минуты — слишком великим счастьем казалось нам это...

Он все таки осуществился.

В Москвѣ шли холодные дожди, похоже было на то, что лѣто уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, каркали вороны, улицы мокро и черно блестѣли раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бѣгу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ѣхал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформѣ я пробѣжал бѣгом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто. В маленьком купэ перваго класса, которое я заказал заранѣе, шумно лил дождь по крышѣ. Я немедля опустил оконную занавѣску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой бѣлый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть пріоткрыл занавѣску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшей с вещами вдоль вагона в темном свѣтѣ вокзальных фонарей. Мы условились, что я пріѣду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мнѣ как нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформѣ. Теперь им уже пора было быть. Я смотрѣл все напряженнѣе — их все не было. Ударил второй звонок — я похолодѣл от страха: опоздала, или он в послѣднюю минуту вдруг не пустил ее! Но тотчас вслѣд за тѣм был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчаткѣ, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса — я мысленно

видѣл, как он хозяйственно вошел в него вмѣстѣ с ней, оглянулся, — хорошо-ли устроил ее носильщик, — и снял перчатку, снял картуз, цѣлуясь с ней, крестя ее... Третій звонок оглушил меня, тронувшійся поѣзд поверг в оцѣпенѣніе. Поѣзд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно, на всѣх парах... Кондуктору, который проводил ее ко мнѣ и перенес ея вещи, я сунул в руку десятирублевую бумажку, сдерживая мелко стучащіе зубы.

Войдя, она даже не поцѣловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцѣпляя от волос шляпку.

— Я совсѣм не могла обѣдать, — сказала она. — Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. — И ужасно хочу пить. Дай мнѣ нарзану, — сказала она, в первый раз говоря мнѣ ты.

— Я убѣждена, что он поѣдет вслѣд за мною. Я дала ему два адреса — Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджикѣ. Это пустяки, что ему нельзя уѣхать без отпуска, он и без отпуска уѣдет... Но Бог с ним, лучше смерть, чем эти муки.

Утром, когда я вышел в корридор, в нем было солнечно, душно, из уборных пахло мылом и одеколоном и всѣм, чѣм пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагрѣтыми окнами шла ровная выжженная степь, видны были пыльныя широкія дороги, арбы, влекомыя волами, мелькали желѣзнодорожныя будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках... Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимо сухое солнце, небо подобное пыльной тучѣ, потом призраки первых гор на горизонтѣ...

Из Геленджика и Гагр она послала ему по открыткѣ, написала, что еще не знает, гдѣ останется.

Потом мы спустились вдоль берега к югу.

Мы нашли как раз то, о чем мечтали, — мѣсто первобытное, тропически богатое, заросшее чинаровыми лѣсами, цвѣтущими кустарниками, красным деревом, магноліями, гранатами, среди которых поднимались вѣерныя пальмы и кипарисы.

Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шел по холмам в лѣсныя чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лѣсах лазурно свѣтился, расходился и таял душистый туман, за дальними лѣсистыми вершинами сіяла бѣлизна снѣжных гор.. Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипѣла торговля, было тѣсно от народа, от верховых лошадей и осликов, — по утрам съѣзжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, — плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности.

Потом мы уходили на берег моря, всегда совсѣм пустой, купались и лежали на солнцѣ до самаго завтрака. Послѣ завтрака — все жареная на шкарѣ рыба, бѣлое вино, орѣхи и фрукты — в знойном сумракѣ нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозныя ставни горячія веселыя полосы свѣта.

Когда жар спадал, и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скатѣ под нами, имѣла цвѣт фіалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красотѣ.

На закатѣ часто громоздились за морем удивительныя

облака; они пылали так великолѣпно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала.

— Еще недѣля, двѣ — и опять Москва! — говорила она.

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьмѣ плыли, то погасая, то вспыхивая, огненныя мухи, звенѣли древесныя лягушки. Когда глаз привыкал к темнотѣ, выступали вверху звѣзды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замѣчали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, однообразный стук в бубен и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той-же пѣсни.

Недалеко от нас, в прибрежном оврагѣ, спускавшемся из лѣсу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная рѣчка. Как чудесно дробился, кипѣл ея блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лѣсов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрѣла поздняя луна!

Иногда по ночам надвигались с гор страшныя тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой чернотѣ лѣсов то и дѣло разверзались волшебныя зеленыя бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лѣсах просыпались и мяукали орлята, ревѣл барс, тявкали чекалки... Раз к нашему освѣщенному окну сбѣжалась цѣлая стая их, — онѣ всегда сбѣгаются в такія ночи к жилью, — мы открыли окно и смотрѣли на них сверху, а онѣ стояли под блестящим ливнем и тявкали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

Он искал ее в Геленджикѣ, в Гаграх, в Сочи. На другой день по пріѣздѣ в Сочи он купался утром в морѣ, потом брился, надѣл чистое бѣлье, бѣлоснѣжный китель, позавтракал в своей гостиницѣ на террасѣ ресторана, выпил бутылку шампанскаго, пил кофе с шартрезом, не спѣша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрѣлил себѣ в виски из двух револьверов.

12.XI.37.

БАЛЛАДА

Под большіе зимніе праздники был всегда жарко натоплен деревенскій дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых всѣ были раскрыты напролет, — от прихожей до диванной, находившейся в самом концѣ дома, — и блистала в красных углах восковыми свѣчами и лампадами перед иконами.

Под эти праздники в домѣ всюду мыли гладкіе дубовые полы, от топки скоро сохнувшіе, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядкѣ разставляли по своим мѣстам сдвинутыя на время работы мебели и в углах, перед золочеными и серебряными окладами икон, зажигали лампады и свѣчи, всѣ же прочіе огни тушили. К этому часу темно синѣла зимняя ночь за окнами и всѣ расходились по своим спальным горницам. В домѣ водворялась тогда полная тишина, благоговѣйный и как будто ждущій чего-то покой, как нельзя болѣе подобающій ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умилительно.

Зимой гостила иногда в усадьбѣ странница Машенька, сѣденькая, сухенькая и дробная как дѣвочка. И вот только одна она во всем домѣ не спала в такія ночи: придя послѣ ужина из людской в прихожую и сняв с своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она безшумно обходила по мягким попонам всѣ эти жаркія, таинственно освѣщенныя комнаты, всюду становилась на колѣни, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на

черный ларь, спокон вѣку стоявшій в ней под окном, и вполголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого «Божьяго звѣря, Господня волка»: услыхал, как молилась ему Машенька.

Мнѣ не спалось, я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять что-нибудь почитать из книжных шкапов ея. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей на ларѣ. Я, пріостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы:

— Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему, — говорила она без всякаго выраженія. — Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец на землѣ, как и всѣ отцы мои...

— Скажите Богу: как страшен Ты в дѣлах Твоих!

— Живущій под кровом Всевышняго под сѣнію Всемогущаго покоится... На аспида и василиска наступишь, попрѣшь льва и дракона...

На послѣдних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убѣжденно: попрѣшь льва и дракона. Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала с кѣм-то:

— Ибо Его всѣ звѣри в лѣсу и скот на тысячѣ гор...

Я заглянул в прихожую: она сидѣла на ларѣ, ровно спустив с него маленькія ноги в сѣрых шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрѣла перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и раздѣльно промолвила:

— И ты, Божій звѣрь, Господень волк, моли за нас Царицу Небесную.

Я подошел и негромко сказал:

— Машенька, не бойся, это я.

Она уронила руки, встала, низко поклонилась:

— Здравствуйте, сударь. Нѣт-с, я не боюсь. Чего-ж мнѣ

бояться теперь? Это в молодости глупа была, всего боялась. Темнозрачный бѣс смущал.

— Сядь, пожалуйста, — сказал я.

— Никак нѣт, — отвѣтила она. — Я постою-с.

Я положил руку на ея костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сѣсть и сѣл с ней рядом.

— Сиди, а то я уйду. Скажи, кому это ты молилась? Развѣ есть такой святой — Господній волк?

Она хотѣла опять встать. Я опять удержал ее:

— Ах, какая ты! А еще говоришь, что ничего не боишься! Я тебя спрашиваю: правда, что есть такой святой?

Она подумала. Потом серьезно отвѣтила:

— Стало быть есть, сударь. Есть же звѣрь Тигр-Ефрат. Есть и Господній волк. Раз в церкви написан, стало быть есть. Я сама его видѣла-с.

— Как видѣла? Гдѣ? Когда?

— Давно, сударь, в незапамятный срок. А гдѣ — и сказать не умѣю: помню одно — мы туда трое суток ѣхали. Было там село Крутыя Горы. Я и сама дальняя, — может, изволили слышать: рязанская, — а тот край еще ниже будет, в Задонщинѣ, и уж какая там мѣстность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихняго дѣдушки любимая, — цѣлая, может, тысяча глиняных регулярных изб по голым буграм-косогорам, а на самой высокой горѣ, на вѣнцѣ ея, над рѣкой Каменной, господскій дом, тоже голый весь, трехъярусный, и церковь желтая, колонная, а в этой церкви этот самый Божій волк: посередь, стало быть, плита чугунная над могилой князя, им зарѣзаннаго, а на правом столпѣ — он сам, этот волк, во весь свой рост и склад написанный: сидит в сѣрой шубѣ на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в земь — так и зарит в глаза: ожерелок сѣдой, остистый, толстый, голова большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, крова-

вые, округ-же головы золотое сіяніе, как у святых и угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное! До того живой сидит, будто вот-вот на тебя кинется!

— Постой, Машенька, — сказал я, — я ничего не понимаю: зачѣм-же этого страшнаго волка в церкви написали? Говоришь — он зарѣзал князя: так почему-ж он святой и зачѣм ему быть над княжеской могилой? И как ты попала туда, в это ужасное село? Разскажи все толком.

И Машенька стала разсказывать:

— Попала я, сударь, туда по той причинѣ, что была тогда крѣпостной дѣвушкой, при домѣ наших князей прислуживала. Была я сирота, — родитель мой, баяли, какой-то прохожій был, — бѣглый, скорѣй всего, — незаконно обольстил мою матушку да и скрылся Бог вѣсть куда, а матушка, родившая меня, вскорости скончалась. Ну и пожалѣли меня господа, взяли с дворни в дом, как только сравнялось мнѣ тринадцать лѣт, и приставили на побѣгушки к молодой барынѣ, и я так чѣм-то полюбилась ей, что она меня ни на час не отпускала от своей милости. Вот она-то и взяла меня с собой в войяж, как задумал молодой князь съѣздить с ней в свое дѣдовское наслѣдіе, в эту самую заглазную деревню, в Крутыя Горы. Была та вотчина в давнем запустѣніи, в безлюдіи, — так и стоял дом забитый, заброшенный с самой смерти дѣдушки, — ну и захотѣли наши молодые господа провѣдать ее. А какой страшной смертью помер дѣдушка, о том всѣм нам было вѣдомо по преданію...

В залѣ что-то слегка треснуло и потом упало, чуть стукнуло. Машенька скинула ноги с ларя и побѣжала в зал: там уже пахло гарью от упавшей свѣчи. Она замяла еще чадившій свѣчной фитиль, затоптала затлѣвшій ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свѣчу от прочих горѣвших свѣчей, воткнутых в серебряныя лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала: перевернула ярким пламенем

вниз, покапала в лунку потекшим, как горячій мед, воском, потом вставила, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свѣчей и опять соскочила на пол.

— Ишь как весело затеплилось — сказала она крестясь и глядя на ожившее золото свѣчных огоньков. — И какой дух-то церковный пошел.

Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик образа древне глядѣл из-за них в пустом кружкѣ серебрянаго оклада. В верхнія, чистыя стекла окон, густо обмерзших снизу сѣрым инеем, чернѣла ночь и близко бѣлѣли отягощенныя пластами снѣга лапы вѣтвей в палисадникѣ. Машенька посмотрѣла и на них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую.

— Почивать вам пора, сударь, — сказала она, садясь на ларь и сдерживая зѣвоту, прикрывая рот своей черной ручкой. — Ночь-то уж грозная стала.

— Почему грозная?

— А потому, что потаенная, когда только алектор, пѣтух по нашему, да еще нощный вран, сова, может не спать. Тут сам Господь землю слушает, самыя главныя звѣзды начинают играть, проруби мерзнут по морям и рѣкам.

— А что-ж ты сама не спишь по ночам?

— И я, сударь, сколько надобно, сплю. Старому человѣку много-ли сна полагается? Как птицѣ на вѣткѣ.

— Ну, ложись, только доскажи мнѣ про этого волка.

— Да вѣдь это дѣло темное, давнее, сударь, — может, баллада одна.

— Как ты сказала?

— Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю — мороз по головѣ идет:

Воет сыр-бор за горою,
Метет в бѣлом полѣ,

Стала вьюга-непогода,
Запала дорога...

— До чего хорошо, Господи!

— Чѣм хорошо, Машенька?

— Тѣм и хорошо-с, что сам не знаешь чѣм. Жутко.

— В старину, Машенька, все жутко было.

— Как сказать, сударь? Может и правда, что жутко, да теперь-то все мило кажется. Вѣдь когда это было? Уж так-то давно, всѣ царства-государства прошли, всѣ дубы от древности разсыпались, всѣ могилки сравнялись с землей. Вот и это дѣло, — на дворнѣ его слово в слово сказывали, а правду-ли? Дѣло это будто еще при самой великой царицѣ было и будто оттого князь в Крутых Горах сидѣл, что она на него за что-то разгнѣвалась, заточила его в даль от себя, и он очень лют сдѣлался — пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силѣ был, а касательно наружности отлично красив и будто бы не было ни на дворнѣ у него, ни по деревням его ни одной дѣвушки, какую-бы он к себѣ, в свою сераль, на первую ночь не требовал. Ну вот и впал он в самый страшный грѣх: польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербургѣ на царской службѣ был, а когда нашел себѣ суженую, получил от родителя разрѣшеніе на брак и женился, то, стало быть, пріѣхал с новобрачной к нему на поклон, в эти самыя Крутыя Горы. А он и прельстись на нее. Про любовь, сударь, недаром поется:

Жар любви во всяком царствѣ,
Любится земной весь круг...

И какой же может быть грѣх, если хоть и старый человѣк мыслит о любимой, вздыхает о ком? Да вѣдь тут-то дѣло

совсѣм иное было — тут вродѣ как родная дочь была и он на блуд простирал алчныя свои намѣренія.

— Ну и что-же?

— А то, сударь, что, замѣтивши такой родительскій умысел, рѣшил молодой князь тайком бѣжать. Подговорил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запречь тройку порѣзвѣй, вышел, крадучись, как только заснул старый князь, из родного дома, вывел молодую жену — и был таков. Только старый князь и не думал спать: он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольца округ мѣсяца лежат, снѣгов в степи выше роста человѣческаго, а ему все нипочем: летит, весь увѣшанный саблями и пистолетами, верхом на конѣ, рядом со своим любимцем доѣзжачим, и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит как орел: стой, стрѣлять буду! А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрѣлять в лошадей, и убил на скоку сперва одну пристяжную, правую, потом другую, лѣвую, и уж хотѣл коренника свалить, да глянул вдруг в бок и видит: несется на него по снѣгам, под мѣсяцем, великій, небывалый волк с глазами, как огонь, красными и с сіяньем округ головы! Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанесся на князя, прянул к нему на грудь — и в единый миг пересѣк ему кадык клыком.

— Ах, какія страсти, Машенька, — сказал я. — Истинно баллада!

— Грѣх, не смѣйтесь, сударь, — отвѣтила она серьезно. — У Бога всего много.

— Не спорю, Машенька. Только странно все таки, что написали этого волка как раз возлѣ могилы князя, зарѣзаннаго им.

— Его написали, сударь, по собственному желанію князя: его домой еще живого привезли и он успѣл перед смертью

покаяться и причастіе принять, а в послѣдній свой миг — приказать написать того волка над своею могилою: в назиданіе, стало быть, всему потомству княжескому. Кто-ж его мог по тѣм временам ослушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим построенная.

3.II.38.

АПРѢЛЬ

В солнечное окно, за нагрѣтыми двойными рамами, он увидал в воротах двора верхового молодого работника, ѣздившаго в Субботино на почту. Он в одной косовороткѣ выскочил на крыльцо — уже недѣли двѣ напрасно ждал письма из Москвы. Работник, возбужденный от быстрой ѣзды, горячаго апрѣльскаго солнца и весенняго воздуха, еще рѣзкаго и прохладнаго, с раскраснѣвшимся лицом, пестрым от пятен грязи, летѣвшей на него из-под копыт по дорожным лужам, бросил у крыльца поводья и стал рыться в сумкѣ, висѣвшей у него через плечо.

— Только всего, — весело сказал он, подавая два номера «Орловскаго Вѣстника».

Картуз у него был сдвинут назад, глаза смотрѣли дружелюбно и ярко. Лошадь под ним была потная, казалась тонкой от тонких ног с бѣлым желѣзом новых подков и узлом подвязаннаго хвоста с тугой рѣпкой, сизой исподу и энергично отстающей от округлаго орѣховаго крупа, переливавшагося великолѣпным лоском. Все было прекрасно, — и свѣжій воздух, и горячее солнце, и зазеленѣвшій двор усадьбы, и этот круп, и сѣдло под работником, — «всѣ счастливы, просты, спокойны, здоровы, всѣ, кромѣ меня!» — с отчаяніем подумал он, беря газеты.

— Вели Михайлѣ осѣдлать мнѣ Вороного, — рѣшительно сказал он работнику и пошел в дом. «И отлично, что не пишет! Давно пора послать все это к чорту. Мнѣ еще рано погиб-ь

из-за какой-то развратной и ничтожной дѣвченки!» Он вошел в кабинет и навзничь лег на тахту, поправил под головой скользкую сафьяновую подушку и вперил взгляд перед собою, мысленно смотря в ея воображаемый образ, с ужасом чувствуя, что именно это, — эта развратность и женское, дѣвичье ничтожество ея, — мучит его такою страстью и нѣжностью.

— Да, но не одна же она на свѣтѣ! — вдруг сказал он себѣ. — Вѣдь все это есть и в Ганькѣ, и в учительницѣ, и даже в Глашкѣ...

Он недавно ѣздил вечером на деревню к учительницѣ. Снѣга уже и тогда не было, только морозило к ночи грязь и лужи. Он ѣхал верхом по деревенской улицѣ, мимо ряда изб направо, по косогору, сходившему влѣво от него к рѣчкѣ; за рѣчкой низко висѣла над другим берегом, над чернотой полей, таинственно-тускло и как-то безцѣльно свѣтившая на рѣчку и на ея долину луна; крыши изб направо тоже неярко были освѣщены ею, а гребни их серебрились, точно снѣгом, от звѣзд за ними; дальше, на краю деревни, была видна школа с большим освѣщенным окном. Он привязал лошадь к лозинкѣ против окна, взбѣжал на крыльцо, толкнул дверь в темныя и холодныя сѣни, потом в комнату учительницы... Как чудесно было у нея! Пахло натопленной печкой и духами, на столѣ мягко горѣла лампочка под фаянсовым абажуром. Сама она радовала здоровой прелестью своих восемнадцати лѣт, у нея был живой, точно чего-то ожидающій взгляд и влажно блестящіе зубы; большіе черные глаза за черными рѣсницами имѣли что-то гробовое и вмѣстѣ с тѣм были налиты молодой животной теплотой; груди туго круглились под коричневым платьем, крѣпко подвитые черные волосы отливали глянцем. Она пришла в восхищеніе от его неожиданнаго пріѣзда, тотчас уставила стол тарелочками с орѣхами, пастилой и мармеладом, говорила быстро, спѣша, прелестно картавя, он с жадностью смотрѣл на ея руки, в которых она ловко и сильно трещала

орѣхами, давя их один о другой, обонял ея теплое молодое дыханіе, запах подпаленных щипцами волос и головной плоти, когда она к нему наклонялась, кладя перед ним очищенныя орѣховыя ядра... «Да, поѣду к ней!» — подумал он, вспомнив все это, и сбросил ноги с тахты, взглянув на часы. Было два часа, в домѣ было тихо и пусто, мама, как всегда, спала послѣ обѣда, Глашка тоже, вѣрно, заснула... Он посидѣл, волнуясь, думая: пойти к Глашкѣ или нѣт? Страстно хотѣлось пойти и жутко было: в домѣ ни души, мама спит, Глашка лежит там одна... Самое ужасное было то, что она лицом похожа была на **нее!**

Глашку наняли с мѣсяц тому назад, она пріѣхала из города, служила там горничной. Она была деревенская, но теперь, послѣ зимы в городѣ, держалась не по-деревенски, и потому ее устроили не в примѣр прежним горничным. Ее поселили в комнаткѣ в концѣ коридора, возлѣ задняго крыльца. Там ей поставили желѣзную кровать с высокой периной, и она пышно убрала ее стеганным голубым одѣялом, подушки покрыла накидкой с кружевами по краям, на умывальникѣ устроила нѣчто вродѣ туалета с разными флакончиками и коробочками, и вся комнатка вскорѣ стала развратно пахнуть сладостью дешеваго мыла и розовой пудры.

— Вот наняла, да боюсь, что обокрадет и уйдет, — сказала мама, когда он пріѣхал из Москвы.

Вскорѣ послѣ того Глашка говѣла. В церковь ходила в модной жакеткѣ, с черной бархаткой на шеѣ, с зонтиком, в перчатках. Маленькая головка ея с завитыми на лбу кудряшками была порочно красива: **она** да и только!

Раз она убирала его спальню, все дѣлая не спѣша, с лѣнивой граціей и мутной улыбкой. Он вошел, — она, подметая, медленно сказала, кося глаза на его кровать:

— А хорошо бы на этой постели поспать...

— С кѣм? — пошутил он.

— Да одной...

— Одной скучно. Приходи ко мнѣ.

Она отвѣтила не поднимая глаз:

— Что-ж, можно...

— Врешь, не придешь.

— Божиться не стану...

Ночью он долго гулял по холодному голому саду при свѣтѣ невысокой луны. Вернувшись в дом, заснул в кабинетѣ, не раздѣваясь. И тотчас увидал себя в Крыму, гдѣ он никогда не был. Это было что-то вродѣ Алупки, с ея парком и дворцом, который он видѣл на открытках. Парк спускался к самому морю, море было крупное, зеленое, шумѣло, и от него шла вечерняя свѣжесть. И она, та, которую он так горько полюбил в Москвѣ, выбѣжала из волн вся голая, сжавшись, стыдливо согнувшись, и он видѣл и чувствовал все ея тѣло, его упругость, то, что оно мокро, холодно и крѣпко, видѣл и чувствовал с той разительной остротой, какая бывает только во снѣ. Он очнулся, возбужденный, и на цыпочках пошел по темному коридору к Глашкѣ. У нея горѣла свѣча, она, на спинѣ, спала под своим стеганым одѣялом. Свѣт свѣчи блестѣл на ея кукольном лицѣ с закрытыми глазами. Когда он сѣл к ней на постель, она открыла глаза, безсмысленно посмотрѣла и, ничего не поняв, повернулась на бок. Он стал цѣловать ее в шею в тѣлесном теплѣ из под одѣяла и уже дунул было на свѣчу. Но за окном вдруг встал такой чистый, прекрасный мір лунной ночи, что он вскочил и ушел с бьющимся сердцем.

На другой день он шагал по дому, томясь, не зная что дѣлать. На дворѣ залаяли собаки. Он взглянул в окно: от ворот к дому шла, бросая собакам кусочки хлѣба, Ганька со своей подругой Машкой. Рядом с Машкой, высокой и костлявой, с грубым худым лицом, маленькая Ганька казалась особенно мила. Онѣ вошли в прихожую, он вышел к ним. Видно было, что им обѣим неловко, — у Машки это сказывалось в

том, что она сердито хмурилась, а у Ганьки в смущенной ласковой улыбкѣ.

— С квитками пришли? — спросил он, вспомнив, что онѣ недѣлю тому назад работали в усадьбѣ на поденщинѣ. — Мамы нѣту дома.

Он попытался завести шутливый разговор. Ганька отвѣчала на все поспѣшно, сама не понимая, что говорит, с этой все дрожащей на губах улыбкой. «Совсѣм еще дѣвченка!» — подумал он, умиляясь на нее и стыдясь своих мыслей о ней, на которыя навел его Михайло: «Машка вам все это дѣло за один цѣлковый обработает», сказал он. На Ганькѣ был новый ситцевый желтый платок с красными глазками, новая из чернаго крестьянскаго сукна куртка, новая ситцевая пестренькая юбка и новые башмаки с подковками: идя в усадьбу, дѣвки всегда наряжаются. Ганькин двор был самый нищій во всем селѣ, — каких трудов стоило ей справить на свои заработки весь этот наряд! «И совсѣм еще дѣвочка, и как бы я мог любить ее»!

Волнуясь, он встал с тахты, прошел по пустому дому, надѣл в прихожей синюю поддевку и студенческій картуз, взял нагайку и вышел на крыльцо. Вороной жеребец ждал его. Он легко вскинул себя в сѣдло и крупным шагом поѣхал не к учительницѣ, а через сад по голой липовой аллеѣ. Солнце было сзади, в пролет между деревьев впереди видно было солнечное поле, желтая равнина прошлогодняго жнивья. Выѣхав туда, он рысью погнал жеребца цѣликом на Дубовый Верх, на свой любимый лѣсок, низко сѣрѣвшій на горизонтѣ. Ах, что за день! Солнечный зной мѣшается с острой свѣжестью зернистаго снѣга, еще дотлѣвающаго кое-гдѣ на влажной землѣ среди мертваго жнивья, все вокруг вольно, просторно, пусто и до боли в глазах свѣтло...

Дубовый Верх, тихій, неподвижный, обнял при въѣздѣ в него совсѣм жарким теплом и сладковатым запахом прошло-

годняго дубоваго листа. Весь еще раздѣтый, с корявыми сучьями верхушек, сквозящих на мучительно-нѣжном, блѣдно-голубом апрѣльском небѣ, лѣс казался маленьким, виден был из конца в конец. Он перевел жеребца на галоп по дорогѣ к лѣсному разлужью, шумно шурша коричневой листвой, которой она была глубоко засыпана. На спускѣ в овраги, из сухих кустарников, с треском вырвался вальдшнеп, над разлужьем высоко в небѣ парили ястреба. Весна!

Проскакав разлужье, галопом поднявшись на пригорок к широкому дубу, одиноко и великолѣпно красовавшемуся на нем, он спрыгнул с сѣдла, привязал жеребца к вѣткѣ дуба и упал в нагрѣтую листву под ним, закрыв помутившіеся от слез глаза. Уже и ястреба прилетѣли! Он взглянул вверх — да, вон он, высоко, высоко стоит в этом прелестном небѣ, повис, дрожит, распластав острыя крылушки, весь трепещет, остро смотрит вниз... Если бы револьвер! Один удар как раз в сердце, вот тут, через эту синюю поддевку, — и всему конец!

В серединѣ апрѣля, теплым и неподвижным утром он подъѣхал верхом к раскрытому окну учительницы, крикнул, неловко усмѣхаясь:

— Уже окно выставили?

Она тотчас показалась в окнѣ, праздничная, необычная для деревни: в шелковой бѣлой блузкѣ, в черной шляпкѣ с черной сквозной вуалькой до половины лица, за которой восточно сіяли ея черные глаза

— Здравствуйте, — радостно, картавя, сказала она, — а я в город ѣду.

— Можно узнать, зачѣм? — спросил он, глядя на нее вверх с сѣдла.

— А это секрет!

Она улыбалась, блестя влажными зубами, которые как будто не совсѣм умѣщались в ея молодых губах.

— А меня с собой возьмете?

— Вас? У вас там тоже секреты?

— Нѣт, серьезно. Можно мнѣ с вами? Мнѣ дома так скучно — все один да один...

— Бѣдный! А что на деревнѣ начнут говорить?

Голова у него слегка замутилась от этих слов, от близости, будто бы вдруг образовавшейся между ними.

— Пожалуйста, возьмите, — сказал он с наивной, совсѣм мальчишеской улыбкой, почувствовав, как это будет чудесно — сидѣть с ней вдвоем, наединѣ, сперва в тарантасѣ, потом в вагонѣ.

Она загадочно посмотрѣла на него, еще болѣе увеличивая эту внезапную близость между ними.

— Ну, так и быть, возьму, — отвѣтила она, точно уже получив какую-то власть над ним.

— Так я заѣду за вами?

— Да я уж мужика наняла.

— Ну вот, мужика! Такая нарядная и вдруг на телѣгѣ! Кого вы наняли? Терентія? Я заѣду к нему, откажу и дам полтинник. Он с ума сойдет от радости.

— Да нѣт, это все как то так неожиданно, странно... Вдруг ѣдем вмѣстѣ...

— То-то и хорошо, что вмѣстѣ! Нѣт, я непремѣнно заѣду.

Она не сумѣла сдержать себя:

— Ну так смотрите же, не опоздайте, поѣзд идет ровно в пять.

Он весело засмѣялся:

— Так что-же вы так рано одѣлись?

Она прелестно смутилась, трогательно отвѣтила:

— Да Терентій сказал, что послѣ обѣда ему нельзя ѣхать,

ему нынче надо еще свинью куда-то везти. Отомчу вас, говорит, вернусь и еще с свиньей управиться поспѣю.

— Это замѣчательно! Отомчу вас, потом свинью! А вам ждать на станціи цѣлых пять часов?

— Что-ж, я бы посидѣла до поѣзда в дамской комнатѣ...

— И все из-за свиньи!

Тут засмѣялась и она, необыкновенно звонко, с наслажденіем. Он дернул лошадь ближе к окну, схватил ея руку и прижал к своим губам.

— Это уже мародерство! — сказала она, особенно прелестно картавя.

«Боже мой! — думал он, скача домой. — Неужели наконец освобожденіе?»

У своего крыльца он помедлил слѣзать с лошади, глядя в сад, слушая. Все мягко туманилось, в саду блаженно, изысканно выводили свои сладкіе переливы черные дрозды. Разноцвѣтныя дѣвки ходили с граблями и метлами по аллеѣ, расчищая ее, наметая в кучу прошлогоднюю листву, на деревнѣ протяжно, истомно перекликались пѣтухи... Но когда он вошел в дом, ему сразу бросилась в глаза валявшаяся на лавкѣ открытка, — с почты пріѣхали без него. Он схватил ее: да, от нея. Всегда так — бросишь ждать, мучиться — и вдруг вот оно! Но на оборотѣ открытки оказалось только два пошлых слова: «Привѣт из Москвы!» — и даже без подписи. Насмѣшка или просто глупость? Он в клочки разорвал открытку, прошел в кабинет и с отвращеніем к себѣ, к своей жалкой любви, к своим мукам и воспоминаніям, ничком лег на тахту. Нѣт, освобожденія нѣт и не будет. Замѣнить ее все таки никто не может...

В дорогѣ опять нашел на него обман — счастье сидѣть плечом к плечу с нарядной, пахнущей духами дѣвушкой, уже

как будто втайнѣ соглашающейся с ним на что-то самое дивное в мірѣ. Он говорил что попало, опять смѣшил ее Терентіем, держал ея лѣвую руку, обтянутую черной лайковой перчаткой, и она не отнимала руки.

— Можно поцѣловать хоть перчатку?

Она приложила палец к губам, сдѣлала строгое лицо, кивнула на спину кучера, — он в отвѣт так сжал ея руку, что она с гримасой боли, но с явным удовольствіем легонько вскрикнула: «Ай!»

На станціи он побѣжал вперед, купил два билета второго класса, потом, когда стал подходить поѣзд, на ходу вскочил в вагон, тотчас нашел пустое купэ и ввел ее туда, очень польщенную и его заботливостью и непривычной роскошью путешествія. Потом они молча сидѣли рядом, переглядываясь и обмѣниваясь странными улыбками.

— Вы всегда ѣздите во втором классѣ — крикнула она сквозь стук колес, несшійся в открытое окно, в которое бил вечерній полевой вѣтер.

— Что? — крикнул он, растягивая рот в счастливую улыбку.

— Я в первый раз в жизни! — крикнула она.

Вдали, за голыми полями, садилось солнце, бросая на них красный свѣт, колеса ладно грохотали в свѣжѣющем воздухѣ. Он опять взял ея руку, она не отняла ее, только отвернулась, глядя в окно.

— Ну вот и пріѣхали, — тихо сказала она, когда поѣзд стал подходить к городскому вокзалу мимо уже зажженных станціонных фонарей.

— Вы куда? — спросил он, выходя за ней из вокзала и со страхом думая, что сейчас останется один.

— На Покровскую, к подругѣ.

— Завтра я увижу вас?

Она подумала.

— Да. В городском саду. В одиннадцать. Там в это время никого не встрѣтишь. В главной аллеѣ.

— С десяти буду ждать.

— А теперь я поѣду одна.

— Да. Прощайте.

Он посадил ее в разбитую, провисшую извозчичью пролетку, слабо пожал ея руку. Она обернулась, отъѣзжая, — мелькнули в сумерках ея черные глаза за сквозной вуалькой...

Он ночевал в первых попавшихся номерах. Как вошел, сразу раздѣлся и лег на желѣзную кровать с коленкоровой простынкой и тяжелой как камень подушкой, набитой крупными, трещащими под головой перьями, и проснулся в шесть утра. За дверью еще сонно шаркала половая щетка. Он выглянул в узкій корридор, озаренный желтым ранним солнцем, заказал горничной с сухими волосами и жилистой шеей, которая мела в корридорѣ, самовар...

Надо было убить безконечное время до одиннадцати. Он вышел, пошел куда глаза глядят. Утро опять было теплое, мягкое. Мирный, мѣрный звон колоколов, тишина, за заборами сады, вѣтви деревьев в почках... Господи, избавь меня от нея! — думал он, шагая. — Как я буду опять счастлив!

По глухой Садовой улицѣ он пришел к обрыву над рѣкой, замкнутому древней приземистой церковкой. Тупик, сады за заборами, деревянные домишки в три окна; золотой крест над куполом мягко мерцает, тает в теплом воздухѣ... Церковныя двери были раскрыты, он, крестясь, вошел. Низкіе своды, ни души, холодок и старый, сложный церковный запах. Голыя низкія стѣны выкрашены синей, как сахарная бумага, краской, в куполѣ свѣтло, внизу синевато, сумрачно; алтарь грубо блещет, в прорѣзи золотокованных царских врат сквозит красный шелк завѣсы... Он поднялся на ступени амвона, подошел к чудотворной иконѣ возлѣ сѣверных дверей алтаря. Она была из толстаго темнаго дерева на бархатной вишневой подкладкѣ

и вся цвѣтисто пестрѣла за мерцавшей перед ней лампадкой: темное серебро оклада, на окладѣ множество поддѣльных драгоцѣнных камней, висят образки и ленты, олобянныя сердца, руки и ноги, исцѣленныя части тѣла... Он стал на колѣни, припал лбом к полу, напрягая всѣ свои душевныя и тѣлесныя силы на безмолвную мольбу: Господи помоги! Спаси и помоги! Возврати мнѣ ее! Всетаки не могу я без нея!

В Городском саду он без конца и все быстрѣе и быстрѣе ходил взад и вперед по главной аллеѣ. Парило, собирались, чадили и густѣли облака. Сердце замирало и от заходящей грозы и от оскорбительной тоски напраснаго ожиданья. Прошло полчаса, час, — в аллеѣ все никто не показывался. Грубый обман или ей почему нибудь никак нельзя было прийти? Он еще раз взглянул на часы: уже половина перваго. Какое счастье, что есть поѣзд домой в половинѣ второго! Он кинулся вон из сада, на всѣ лады проклиная себя за всѣ тѣ дурацкіе планы, которые он строил на этот день.

Вечерѣло тихо, печально, сумрачно. Он шел по своему саду, сладко и болѣзненно чувствуя: ночью будет первый обильный дождь животворный, весенній... Все сѣро и голо, грифельный осинник за шалашем в оврагѣ засыпан гніющей листвой. Он пошел цѣликом сквозь осинник, скользя по ней. В большом пнѣ над оврагом еще лежал налитый водой раскисшій снѣг, в оврагѣ лился, булькал из буерака в буерак, с уступа на уступ, паводок. Он перепрыгнул через него, выбѣжал по кручѣ другого бока к соломенному валу, перелѣз через него как раз на задворки Машкинаго двора, прошел между ним и другим двором, вышел на темнѣющую деревенскую улицу и остановился перед Машкиной избой, — она была крайняя, была особенно бѣдна и черна, с прогнившей, сѣдлом проломившейся крышей, — и заглянул в полуразбитое окошечко. Машка, высокая, костлявая, в желтом ситцевом платьѣ,

стояла, глядясь в зеркальце. На улицѣ никого не было, но он все-таки нырнул в сѣнцы, воровски быстро отворил дверь избы и быстро запер за собой.

— Ты одна? — спросил он вполголоса.

Она ничуть не удивилась его внезапному появленію, отвѣтила просто и невнимательно, продолжая глядѣться:

— Одна. Брат уѣхал в Петрищево, батюшка по сосѣдям сумерничает.

Положив зеркальце на стол, она смахнула подолом с лавки. Он сѣл, не снимая картуза, она тоже сѣла, с другого бока стола. Ея желтое платье было подпоясано по широкой худой таліи глянцевитым черным ремнем, скуластыя щеки натерты румянами и стеарином: румяна были грубаго малиноваго цвѣта, стеарин мертваго, свинцоваго.

— Куда-й-то убралась? — спросил он.

Она усмѣхнулась:

— Да никуда. Так, от скуки.

— Послушай... — сказал он, помолчав.

— Слушаю.

— Давай о дѣлѣ поговорим.

— Говорите. Знаю ваши думки.

— Да ты про что?

— Про Ганьку, небось?

— Ну да. Ну как-же ты думаешь, согласится?

— А как -же она не согласится? Нынче не то что по городам — по деревням ни одной чистой не осталось. Может, отца побоится, — сказала она насмѣшливо, — папа у ней строгій.

— Ну, а как-же все это обдѣлать? — спросил он, мысленно ужасаясь своей подлости.

— Да уж обдѣлаю...

Совсѣм стемнѣло, в дыру окошечка стало пахнуть откуда-

то молодой травой и навозом из коровника. Он замолчал, опустив голову. Она подождала и поднялась:

— Ну идите, а то, неравно, батюшка придет.

Он тоже поднялся и взял ее за талію. Она усмѣхнулась:

— Ай вы в меня влюбились? Нѣт, я для вас не подходящая. Ишь вы какой длинный, слабосильный.

— Да я вдесятеро сильнѣе тебя.

— Куда вам со мной! Я вас замотаю.

— Послушай, я серьезно. Я не из-за Ганьки пришел, это только придирка... Приходи завтра под-вечер в шалаш в нашем саду.

— Да и я про Ганьку только болтала. Давно вас насквозь вижу.

— Ну так как же? — спросил он, замирая.

— Завтра, как корову подою, так приду.

9.III.38.

СТЕПА

Перед вечером, по дорогѣ в Чорнь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой.

Он, в чуйкѣ с поднятым воротом и глубоко надвинутом картузѣ, с котораго текли струи, шибко ѣхал на бѣговых дрожках, сидя верхом возлѣ самаго щитка, крѣпко упершись ногами в длинных сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрыя, скользкія ременныя вожжи, торопя и без того рѣзвую лошадь; слѣва от него, возлѣ передняго колеса, крутившагося в цѣлом фонтанѣ жидкой грязи, ровно бѣжал, высунув язык, коричневый пойнтер.

Сперва Красильщиков гнал по черноземной колеѣ вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной сѣрый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей ни неба уже давно не было видно за этим потопом, пахнущим огуречной свѣжестью и фосфором: перед глазами то и дѣло ослѣпляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз во великой стѣнѣ туч рѣзкая голо-вѣтвистая молнія, точно знаменіе конца міра, и над головой длинно летѣл с трескомъ шипящій хвост, разрывавшійся вслѣд затѣм необыкновенными по своей сокрушающей силѣ ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком... Красильщиков рос и учился в Москвѣ, кончил там университет, но, когда пріѣзжал лѣтом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помѣщиком-купцом,

вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливнѣ и грохотѣ, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичнаго удовольствія деревенской жизни. В это лѣто он часто вспоминал лѣто в прошлом году, когда он, из-за связи с одной извѣстной актрисой, промучился в Москвѣ до самаго іюля, до отъѣзда ея в Кисловодск: бездѣлье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающаго в желѣзных бочках асфальта в развороченных улицах, завтраки в Троицком низкѣ с актерами Малаго Театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидѣнье в кофейнѣ Трамблэ, вечером ожиданье ея у себя на квартирѣ с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисеѣ, с запахом нафталина... Лѣтніе московскіе вечера безконечны, темнѣет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь — ее все нѣт... Потом наконец звонок и она, во всей своей лѣтней нарядности, и ея задыхающійся голос: «Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсѣм завяла твоя чайная роза, так спѣшила, что лихача взяла, голодна ужасно...»

Когда ливень и сотрясающіеся перекаты стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влѣво от шоссе, показался знакомый постоялый двор старика вдовца, мѣщанина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст, — надо перегодить, подумал Красильщиков, лошадь вся в мылѣ, и еще неизвѣстно, что будет опять, ишь какая чернота в ту сторону и все еще загорается... На переѣздѣ к постоялому двору он на рысях свернул и осадил возлѣ деревяннаго крыльца.

— Дѣд! — громко крикнул он. — Принимай гостя!

Но окна в старом бревенчатом домѣ под желѣзной ржавой крышей были темны, на крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслѣд за

вскочившей туда грязной и мокрой собакой, — вид у нея был бѣшеный, глаза блестѣли ярко и безсмысленно, — сдвинул с потнаго лба картуз, снял отяжелѣвшую от воды чуйку и кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевкѣ с ременным поясом в серебряном наборѣ, вытер пестрое от грязи лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сѣнцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Вѣрно, скотину убирает, подумал он и, разогнувшись, посмотрѣл в поле: не ѣхать ли дальше? Воздух был неподвижен и сыр, с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлѣбах, дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнѣли, за шоссе, за низкой чернильной грядой лѣса, еще гуще и мрачнѣе чернѣла туча, широко и зловѣще вспыхивало красное пламя, — и Красильщиков шагнул в сѣнцы, нашарил в темнотѣ дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только гдѣ-то постукивали рублевые часы на стѣнѣ. Он хлопнул дверью, повернул налѣво, нашарил и отворил другую, в избу: опять никого, однѣ мухи сонно и недовольно загудѣли в жаркой темнотѣ на потолкѣ.

— Как подохли! — вслух сказал он — и тотчас услыхал скорый и пѣвучій, полудѣтскій голос соскользнувшей в темнотѣ с нар Степы, дочери хозяина:

— Это вы, Василь Ликсѣич? А я тут одна, стряпуха поругалась с папашей и ушла домой, а папаша взяли работника и уѣхали по дѣлу в город, вряд-ли и вернутся нынче... Напугалась грозы до-смерти, а тут, слышу, кто-й-то подъѣхал, еще пуще испугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...

Красильщиков чиркнул спичкой, освѣтил ея черные глаза и смуглое личико:

— Здравствуй, дурочка. Я тоже ѣду в город, да вишь что дѣлается, заѣхал переждать... А ты, значит, думала, разбойники подъѣхали?

Спичка стала догорать, но еще видно было смуглое смущенно улыбающееся личико, черные сухіе волосы на хорошенькой головкѣ, коралловое ожерелье на шейкѣ, маленькія груди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсѣм дѣвочкой.

— Я сейчас лампу зажгу, — поспѣшно заговорила она, смутясь еще больше от зоркаго взгляда Красильщикова и кинулась к лампочкѣ над столом. — Вас сам Бог послал, что бы я тут дѣлала одна, — быстро и пѣвуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой рѣшетки лампочки, из ея жестянаго кружка, стекло.

Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ея вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку.

— Погоди, не надо, — вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талію. — Постой, повернись-ка на минутку ко мнѣ...

Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себѣ, — она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо заглянул сквозь сумрак ей в глаза и засмѣялся:

— Еще пуще испугалась?

— Василь Ликсѣич... — пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.

— Погоди. Развѣ я тебѣ не нравлюсь? Вѣдь знаю, всегда рада, когда я заѣзжаю.

— Лучше вас на свѣтѣ нѣту, — выговорила она тихо и горячо.

— Ну вот видишь...

Он длительно цѣловал ее в губы.

— Василь Ликсѣич... за ради Христа... Вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом... папаша заѣдут... Ах, не надо!

Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навѣс, снял с нея уздечку, задал ей мокрой накошеной травы из телѣги, стоящей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойныя звѣзды в расчистившемся небѣ. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабыя, далекія зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь. Он поцѣловал ея мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее к себѣ на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно, молча, он, куря, ласково и разсѣянно приглаживал лѣвой рукой ея волосы, щекотавшіе ему подбородок... Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмѣхался. «А папаша в город уѣхали...» Вот тебѣ и уѣхали! Скверно, он все сразу поймет — такой сухонькій и быстрый старичек в сѣренькой поддевочкѣ, борода бѣлоснѣжная, а густыя брови еще совсѣм черныя, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь...

Он без сна лежал до того часа, когда темнота избы стала слабо свѣтлѣть по серединѣ, между потолком и полом. Повернув голову, он видѣл зеленовато бѣлѣющій за окнами восток и уже различал в сумракѣ угла над столом большой образ Угодника в церковном облаченіи, Его поднятую благословляющую руку и непреклонно-грозный взгляд, устремленный прямо на него. Он посмотрѣл на нее: лежит все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во снѣ! Милая и жалкая дѣвченка...

Когда в избѣ стало совсѣм свѣтло, и пѣтух на разные голоса стал орать за стѣной, он сдѣлал движеніе подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с разстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.

— Степа, — сказал он осторожно. — Мнѣ пора.

— Уже ѣдете? — прошептала она безсмысленно.

И вдруг пришла в себя и крест на крест ударила себя в грудь руками:

— Куда-ж вы ѣдете? А как же я теперь буду без вас? Что-ж мнѣ теперь дѣлать?

— Степа, я опять скоро пріѣду...

— Да вѣдь папаша будут дома, — как же я вас увижу! Я бы в лѣс за шоссе пришла, да как же мнѣ отлучиться из дому?

Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаяніи: «Ах!»

Потом он стоял перед нарами, уже в поддевкѣ, в картузѣ, с кнутом в рукѣ, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшагося солнца, а она стояла на нарах на колѣнях и, рыдая, подѣтски раскрывая рот, отрывисто выговаривала:

— Василь Ликсѣич... за ради Христа... за ради самого Царя Небеснаго... возьмите меня замуж! Я вам самой послѣдней рабой буду! У порога вашего буду спать — возьмите! Я бы и так к вам ушла, да кто-ж меня пустит! Василь Ликсѣич...

— Замолчи, — строго сказал Красильщиков. — На днях пріѣду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебѣ. Слышала?

Она сѣла на ноги, сразу оборвав рыданія, раскрыла мокрые лучистые глаза:

— Правда?

— Конечно, правда.

— Мнѣ на Крещенье уже шестнадцатый год пошел, — поспѣшно сказала она.

— Ну вот, значит, через полгода и вѣнчаться можно...

Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уѣхал на тройкѣ на желѣзную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодскѣ.

5.X.1938.

МУЗА

Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи, — у меня всегда была страсть к ней, — и, бросив свое имѣніе в Тамбовской губерніи, провел зиму в Москвѣ: брал уроки у одного бездарнаго, но довольно извѣстнаго художника, неопрятнаго толстяка, отлично усвоившаго себѣ все что полагается: длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-сѣрыя гетры, — я их особенно ненавидѣл, — небрежность в обращеніи, снисходительное поглядываніе издали прищуренными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

— Занятно, занятно... Несомнѣнные успѣхи...

Жил я на Арбатѣ, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника и дома, вечера нерѣдко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом... Непріятно и скучно я жил! Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его «артистически» запущенная, заваленная всякой пыльной бутафоріей мастерская, эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снѣг, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освѣщенном ресторанѣ... Не понимаю, почему я вел такое жалкое существованіе, — был я тогда далеко не бѣден.

Но вот однажды в мартѣ, когда я сидѣл дома, работая карандашами, и в отворенныя фортки двойных рам несло уже не зимней сыростью мокраго снѣга и дождя, не по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто музыкальнѣе звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: кто там? — отвѣта не послѣдовало. Я подождал, опять крикнул — опять молчаніе, потом новый стук. Я встал, пошел отворил: в корридорѣ стояла высокая сѣроглазая дѣвушка в сѣрой зимней шляпкѣ, в сѣром прямом пальто, в высоких сѣрых ботиках: глаза большіе и пристальные, на длинных рѣсницах, на лицѣ и на волосах под шляпкой блестят капли... Она странно усмѣхнулась и твердо сказала:

— Я консерваторка, Муза Граф. Не удивляйтесь, есть такое имя. Слышала, что вы интересный человѣк, и пришла познакомиться. Ничего не имѣете против?

Довольно удивленный, я отвѣтил, конечно, любезностью:

— Очень польщен, милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшіе до вас, вряд-ли правильны: ничего интереснаго во мнѣ, кажется, нѣт.

— Во всяком случаѣ дайте мнѣ войти, не держите меня перед дверью, — сказала она, все так же прямо смотря на меня. — Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала как дома снимать перед моим старым, сѣро-серебристым, мѣстами почернѣвшим зеркалом шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул свое сѣрое пальто, оставшись в сѣреньком фланелевом платьѣ, сѣла на диван, шмыгая мокрым от снѣга и дождя носом, и приказала:

— Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой платок.

Я подал платок, она утерлась и протянула мнѣ ноги:

— Я вас видѣла вчера на концертѣ Шора, — безразлично сказала она.

Сдерживая глупую улыбку удовольствія и недоумѣнія, — что за странная гостья! — я покорно снял один за другим ботики. От нея еще пахло воздухом, и меня волновал этот запах, волновало соединеніе ея мужественности со всѣм тѣм женственно-молодым, что было в ея лицѣ, в прямых глазах, в крупной и красивой рукѣ, — во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботики из под ея платья, под которым округло и полновѣсно лежали ея колѣни, видя выпуклыя икры в тонких сѣрых чулках и удлиненныя ступни в открытых лаковых туфлях.

Затѣм она удобно усѣлась на диванѣ, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал разспрашивать, от кого и что она слышала про меня, и кто она, гдѣ и с кѣм живет. Она отвѣтила:

— От кого и что слышала, не важно. Пошла больше потому, что увидала на концертѣ. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульварѣ.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не зная, что сказать, спросил:

— Чаю хотите?

— Хочу, сказала она. — И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Бѣлова яблок ранет, — тут, на Арбатѣ. Только поторопите коридорнаго, я нетерпѣлива.

— А кажетесь такой спокойной.

— Мало ли что кажется.

Когда коридорный принес самовар и мѣшечек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки... А съѣвши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвинулась на диванѣ и легонько похлопала рукой возлѣ себя:

— Теперь сядьте ко мнѣ.

Я сѣл, она обняла меня, не спѣша поцѣловала в губы, отстранилась, посмотрѣла и, как будто убѣдившись, что я

достоин того, закрыла глаза и опять поцѣловала — старательно, долго.

— Ну вот, — сказала она облегченно. — Больше пока ничего нельзя. Послѣ завтра.

В номерѣ было уже совсѣм темно, — только печальный полусвѣт от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себѣ представить. Откуда вдруг такое счастье !Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во снѣ слышал однообразный звон конок, цоканье копыт...

— Я хочу послѣзавтра пообѣдать с вами в «Прагѣ» — сказала она. — Никогда не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мнѣ думаете. А на самом дѣлѣ вы моя первая любовь.

— Любовь?

— А как же это иначе называется?

Ученье свое я, конечно, вскорѣ бросил, она свое продолжала кое-как. Мы не разставались, жили точно молодые, ходили по музеям, по соборам — «представь, я никогда их прежде не видала», — слушали концерты и даже зачѣм-то публичныя лекціи... В маѣ я переселился, по ея желанію, в старинную подмосковную усадьбу, гдѣ были настроены небольшія дачи, и она стала ѣздить ко мнѣ, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого — дачи под Москвой: никогда еще не жил дачником, без всякаго дѣла, в усадьбѣ, столь не похожей на наши степныя усадьбы, и в таком климатѣ.

Все время дожди, кругом сосновые лѣса. То и дѣло в яркой синевѣ над ними скопляются бѣлыя облака, высоко перекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящій дождь, быстро превращающійся от зноя в душистый сосновый пар... Все мокро, жирно, зеркально... В паркѣ усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-гдѣ построенныя в нем, казались под ними малы как в тропических странах. Пруд стоял

громадным черным зеркалом, на половину затянут был зеленой ряской... Я жил на окраинѣ парка, в лѣсу. Бревенчатая дача моя была не совсѣм достроена, — неконопаченныя стѣны, неструганные полы, печи без заслонок, очень мало мебели. И от сырости в ней мои длинные сапоги, валявшіеся под кроватью, скоро обросли бархатом плесени.

Темнѣло по вечерам только к полуночи: стоит и стоит полусвѣт запада по неподвижным, тихим лѣсам. В лунныя ночи этот полусвѣт странно мѣшался с лунным свѣтом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствію, что царило повсюду, по чистотѣ неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцію, — и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма — и в отвѣс падающія молніи... Утром на лиловой землѣ в сырых аллеях пестрѣли тѣни и ослѣпительныя пятна солнца, цокали птички, называемыя мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых стѣнах дрожала, падая в окна сковозь листву, хрустально-золотая сѣтка низкаго солнца. Тут я шел на станцію встрѣчать ее. Подходил поѣзд, вываливались на платформу несмѣтные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свѣжестью лѣса, показывалась в толпѣ она, с сѣткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно обѣдали с глазу на глаз. Перед ея поздним отъѣздом бродили по парку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вѣковыя деревья, уходящія в звѣздное небо... Заколдованно-свѣтлая ночь, безконечно-безмолвная, с безконечно длинными тѣнями деревьев на серебряных озерах полян...

В іюлѣ она уѣхала со мной в мою деревню, — не вѣнчаясь, стала жить со мной как жена, стала заботливо хозяйствовать.

Долгую осень провела, не скучая, в будничных заботах, за чтеніем. Из сосѣдей чаще всего бывал у нас Завистовскій, одинокій, бѣдный помѣщик, жившій от нас верстах в двух, щуплый, рыженькій несмѣлый, недалекій — и недурный музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с дѣтства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был мнѣ странен. Мы играли с ним в шашки или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед Рождеством я как-то поѣхал в город. Возвратился уже при лунѣ. И, войдя в дом, нигдѣ не нашел ее. Сѣл за самовар один.

— А гдѣ барыня, Дуня? Гулять ушла?

— Не знаю-с. Их нѣту дома с самаго завтрака.

— Одѣлись и ушли, — сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька.

— «Вѣрно, к Завистовскому ушла», — подумал я. «Вѣрно, скоро придет вмѣстѣ с ним — уж семь часов»... И я пошел и прилег в кабинетѣ и внезапно заснул — весь день мерз в санях в дорогѣ. И так же внезапно очнулся через час — с ясной и дикой мыслью: «Да вѣдь она бросила меня! Наняла на деревнѣ мужика и уѣхала на станцію, в Москву, — от нея все станется! Но, может быть, вернулась?» Прошел по дому — нѣт, не вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что дѣлать, я надѣл полушубок, взял зачѣм-то ружье и пошел по большой дорогѣ к Завистовскому, думая: «Как нарочно и он не пришел нынче, а у меня цѣлая страшная ночь впереди! Неужели правда уѣхала, бросила? Да нѣт, не может быть!» Иду, скрипя по наѣзженному среди снѣгов пути, блестят слѣва снѣжныя поля под низкой, бѣдной луной... Свернув с большой дороги, пошел к жалкой усадьбѣ Завистовскаго: аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въѣзд во двор, слѣва старый, нищій дом, в домѣ темно... Поднялся на обледенѣлое крыльцо, с трудом

отворил тяжелую дверь в клоках обивки, — в прихожей краснѣет открытая прогорѣвшая печка, тепло и темнота... Но темно и в залѣ.

— Викентій Викентьич!

И он безшумно, в валенках, появился на порогѣ кабинета, освѣщеннаго тоже только луной в тройное окно:

— Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня...

Я вошел и сѣл на бугристый диван.

— Представьте себѣ, Муза куда-то исчезла...

Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:

— Да, да, я вас понимаю...

— То есть, что вы понимаете?

И тотчас, тоже безшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.

— Вы с ружьем, — сказала она. — Если хотите стрѣлять, то стрѣляйте не в него, а в меня.

И сѣла на другой диван напротив.

Я посмотрѣл на ея валенки, на колѣни под сѣрой юбкой, — все хорошо было видно в золотистом свѣтѣ, падавшем из окна, — хотѣл крикнуть: «Убей лучше ты меня, я уже не могу жить без тебя, за одни эти колѣни, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»

— Дѣло ясно и кончено, — сказала она. — Сцены безполезны.

— Вы чудовищно жестоки, — с трудом выговорил я.

— Дай мнѣ папиросу, — сказала она Завистовскому.

Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек...

— Вы со мной говорите уже на вы, — задыхаясь, сказал я, — Вы могли бы хоть при мнѣ не говорить с ним на ты.

— Почему? — спросила она, подняв брови, держа на отлетѣ папиросу.

Сердце у меня колотилось уже в самом горлѣ, било в виски.Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.

17.X.38.

ПОЗДНІЙ ЧАС

Ах, как давно я не был там, сказал я себѣ. С девятнадцати лѣт. Жил когда-то в Россіи, чувствовал ее своей, имѣл полную свободу разъѣзжать по ней куда угодно, и не велик был труд проѣхать каких нибудь триста верст.А все не ѣхал, все откладывал. Шли годы, приходило иногда в голову: надо непремѣнно съѣздить! — и опять куда-то уходило. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь или никогда. Надо пользоваться единственным и послѣдним случаем, благо час поздній и никто не встрѣтит меня.

И я пошел по мосту через рѣку, далеко видя все вокруг в мѣсячном свѣтѣ іюльской ночи.

Мост был такой знакомый, прежній, точно я его видѣл вчера: грубо древній, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменѣвшій от времени до вѣчной несокрушимости, — гимназистом я думал, что он построен еще при Батыѣ. Однако о древности города говорят только кое-какіе остатки ея, — напримѣр, слѣды городских стѣн на обрывѣ под собором да этот мост. Все прочее попросту старо, провинціально, не болѣе. Одно было странно, одно указывало, что все таки кое-что измѣнилось на свѣтѣ с тѣх пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде рѣка была не судоходная, а теперь ее, вѣрно, углубили, расчистили: мѣсяц был слѣва от меня, довольно далеко над рѣкой; и в его зыбком свѣтѣ и в мерцающем, дрожащем блескѣ воды бѣлѣл колесный пароход, который казался пустым, — так молчалив он был, — хотя всѣ

его иллюминаторы были освѣщены, похожіе на раскрытые, но спящіе золотые глаза и всѣ отражались в водѣ струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославлѣ, и в Суэцком Каналѣ, и на Нилѣ. В Парижѣ ночи сырыя, темныя, розовѣет мглистое зарево на непроглядном небѣ, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отраженій от фонарей на мостах, только они трехцвѣтные: бѣлое, синее и красное — русскіе національные флаги. Тут на мосту фонарей нѣт, он сухой и пыльный. А впереди, на взгорьи, темнѣет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, что это было за несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые, воровски, поцѣловал твою руку, и ты сжала в отвѣт мою — я тебѣ никогда не забуду этого тайнаго согласія. Вся улица чернѣла от народа в зловѣщем, необычном озареніи. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и всѣ бросились к окнам, а потом за калитку. Горѣло далеко, за рѣкой, но страшно жарко, жадно, спѣша, пользуясь засухой. Оттуда высоко валил густым черно-багровым овечьим руном дым, высоко вырывались из него кумачныя полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, мѣдно отсвѣчивали в куполѣ Михаила Архангела. И в тѣснотѣ, в толпѣ, среди тревожнаго, то жалостливаго, то радостнаго говора отовсюду сбѣжавшагося простонародья, не сводившаго с пожара расширенных глаз, я был притиснут к тебѣ, слышал запах твоих дѣвичьих волос, шеи, холстинковаго платья — и вот вдруг рѣшился, взял, весь замирая, твою руку и прижал к губам.

Перейдя мост, я наискось поднялся на взгорье и вошел в город по кое-как мощеной дорогѣ.

В городѣ не было нигдѣ ни единаго огня, ни одной живой души и особенно чувствовался поздній час. Все было нѣмо и просторно, спокойно и печально — печалью русской степной ночи, спящаго степного города. Одни сады чуть слышно,

осторожно трепетали листвой от ровнаго тока слабаго іюльскаго вѣтра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня, давая мнѣ чувство молодости, здоровья, легкости. Я шел — большой мѣсяц тоже шел, катясь и сквозя в чернотѣ вѣтвей зеркальным кругом; широкія улицы лежали в тѣни — только в домах направо, до которых тѣнь не достигала, освѣщены были бѣлыя стѣны и нѣсколько непріятно, траурным глянцем переливались черныя стекла; а я шел в тѣни, ступал по пятнистому тротуару — он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нея было такое вечернее платье, очень нарядное и благородное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ея высокому тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня вниманія. Гдѣ это было? На вечерѣ у кого?

Цѣль моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улицѣ. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторныя улицы в садах, что хотѣл взглянуть на гимназію. И, дойдя до нея, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвѣка тому назад: каменная ограда, каменный двор, большое каменное зданіе во дворѣ — все так-же казенно, прочно и скучно, как было когда-то, при мнѣ. Я помедлил у ворот, хотѣл вызвать в себѣ грусть, жалость воспоминаній о прошлом — и не мог: ничего интереснаго не было в этих воспоминаніях; да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузѣ с серебряными пальчиками над козырьком и в новой шинелькѣ с серебряными пуговицами, потом худой юноша в сѣрой курткѣ и в щегольских панталонах со штрипками; но развѣ это я?

Старая улица показалась мнѣ только немного уже и длиннѣе, чѣм казалась прежде. Все прочее было неизмѣнно, как всюду. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обѣ стороны

бѣлые запыленные дома захолустных купцов, тротуары тоже ухабистые и в аршин шириной — такіе, что лучше бы итти по срединѣ улицы в полном мѣсячном свѣтѣ... И ночь была почти такая-же, как та. Только та была в концѣ августа, когда весь город пахнет яблоками, которыя горами лежат на базарах, и так тепла, что наслажденіем было итти в одной косоворотк̀ѣ, подпоясанной кавказским ремешком. — Можно-ли помнить эту ночь гдѣ-то там, будто бы в небѣ?

У меня все таки не хватило духу дойти до вашего дома. И он, вѣрно, не измѣнился, но тѣм страшнѣе увидать его. Какіе-то чужіе, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат — всѣ пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня всѣ умерли; и не только родные, но и многіе, многіе, с кѣм я, в дружбѣ или пріятельствѣ, начинал жизнь; давно-ли начинали и они, в душѣ увѣренные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, — так быстро и на моих глазах! И я сѣл на тумбу возлѣ какого-то купеческаго дома, неприступнаго за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в тѣ далекія, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкій загар юнаго лица, легкое лѣтнее платье, под которым непорочность, крѣпость и свобода молодого тѣла... Это было начало нашей любви, время еще ничѣм не омраченнаго счастья, близости, довѣрчивости, восторженной нѣжности, радости.

Есть нѣчто совсѣм особое в теплых и свѣтлых ночах русских уѣздных городов в концѣ лѣта. Какой мир, какое благополучіе! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственнаго удовольствія: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет Божье благоволеніе, это высокое сіяющее небо, на которое беззаботно поглядывает он, бродя по нагрѣтой за день ухабистой мостовой и только изрѣдка, для забавы, запуская колотушкой

плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздній час, когда в городѣ не спал только он один, ты ждала меня в вашем маленьком уже подсохшем саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранѣе отпертую тобой, тихо и быстро пробѣжал по мощеному двору и за сараем, в глубинѣ двора, вошел в пестрый сумрак сада, гдѣ слабо бѣлѣло вдали, на скамейкѣ под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встрѣтил твое лицо и блеск твоих ждущих глаз.

И мы сидѣли, сидѣли. Одной рукой я обнимал тебя, слыша біеніе твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя, все твое тѣло и всю твою душу. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, — лег гдѣ-нибудь на скамьѣ и задремал с трубкой в зубах старик, грѣясь в мѣсячном свѣтѣ. Когда я глядѣл вправо, я видѣл, как высоко и безгрѣшно сіяет над двором мѣсяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядѣл влѣво, видѣл заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из какого-то другого сада одинокую зеленую звѣзду, теплившуюся безстрастно и вмѣстѣ с тѣм выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор и звѣзду я видѣл только мельком — одно было в мірѣ: легкій сумрак и мерцаніе глаз. Мы тихо спрашивали друг друга: отчего ты все молчишь? И, не отвѣчая, глядѣли друг другу в глаза в недоумѣніи счастья.

А потом ты проводила меня до калитки и, стоя в ней, я сказал:

— Если есть будущая жизнь и если мы встрѣтимся в ней, я стану там на колѣни и поцѣлую твои ноги за все, что ты дала мнѣ на землѣ.

Я вышел на средину свѣтлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видѣл, что все еще бѣлѣет в калиткѣ.

Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тѣм-же пу-

тем, каким пришел. Нѣт, у меня была, кромѣ Старой улицы, и другая цѣль, в которой мнѣ было страшно признаться, но осуществленіе которой, я знал, было неминуемо. И я пошел — взглянуть и уйти уже навсегда.

Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влѣво, по базару, а с базара по Монастырской — к выѣзду из города.

Базар — как бы другой город в городѣ. Очень пахучіе ряды. В Обжорном ряду под навѣсами над длинными столами и скамьями темно. В Скобяном висит на цѣпи над серединой прохода грубая в своей старинѣ икона большеглазаго Спаса в ржавом окладѣ. В Мучном днем всегда бѣгали, клевали по мостовой цѣлой стаей голуби. Идешь в гимназію — сколько их! И все толстые, с радужными зобами — клюют и бѣгут, женственно, щепотко виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замѣчая тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупныя темныя крысы, гадкія и страшныя.

Монастырская улица — пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню, другим — в город мертвых. В Парижѣ двое суток выдѣляется дом номер такой-то на такой-то улицѣ изо всѣх прочих домов чумной бутафоріей подъѣзда, его угольнаго с серебром обрамленія, двое суток лежит в подъѣздѣ на угольном покровѣ столика лист бумаги в угольной каймѣ — на нем расписываются вѣжливые визитеры; потом, в нѣкій послѣдній срок, останавливается у подъѣзда огромная, с угольным балдахином, колесница, дерево которой черно-смолисто, как чумной гроб, закругленно вырѣзанные полы балдахина свидѣтельствуют о небесах крупными бѣлыми звѣздами, а углы крыши увѣнчаны кудреватыми угольными султанами — перья страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослыя чудовища в угольных попонах с бѣлыми кольцами глазниц; на безконечно высоких козлах сидит и ждет

выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорскій гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренно, должно быть, всегда ухмыляющійся на эти торжественныя слова: «Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis». — Тут все другое. Дует с полей по Монастырской вѣтерок и несут навстрѣчу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым вѣнчиком на лбу над закрытыми выпуклыми вѣками. Так несли и ее.

На выѣздѣ, справа от шоссе, монастырь времен царя Алексѣя Михайловича, крѣпостныя, всегда закрытыя ворота и крѣпостныя стѣны, из-за которых блестят золоченыя луковицы собора. Дальше, уже совсѣм в полѣ, очень пространный квадрат других стѣн, но невысоких: в них заключена цѣлая роща, разбитая пересѣкающимися долгими проспектами, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усѣяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты настежь, и я увидѣл главный проспект, ровный, безконечный. Я несмѣло снял шляпу и вошел. Как поздно и как нѣмо! Мѣсяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно.

Все пространство этой рощи мертвых и крестов и памятников ея узорно пестрѣло в прозрачной тѣни. Вѣтер стих к предразсвѣтному часу — свѣтлыя и темныя пятна, все пестрившія под деревьями, спали. В дали рощи, слѣва, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло — и с бѣшеной быстротой, темным клубком понеслось на меня — я, внѣ себя, шарахнулся в сторону — вся голова у меня сразу оледенѣла и стянулась, сердце рванулось и замерло. Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себѣ, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо итти, я шел все прямо по проспекту — и в самом концѣ его, уже в

нѣсколькихъ шагахъ отъ задней стѣны, остановился: справа отъ дороги, на ровномъ мѣстѣ, среди сухихъ травъ, одиноко лежалъ удлиненный и довольно узкій камень, возглавіемъ къ стѣнѣ. Изъ-за стѣны-же дивнымъ самоцвѣтомъ глядѣла невысокая зеленая звѣзда, лучистая, какъ та, но нѣмая, неподвижная.

19.X.38.

II.

РУСЯ

В одиннадцатом часу вечера скорый поѣзд Москва-Севастополь остановился на маленькой станціи за Подольском, гдѣ ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поѣздѣ к опущенному окну вагона перваго класса подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с краснымъ фонарем в висящей рукѣ, и дама спросила:

— Послушайте. Почему мы стоим?

Кондуктор отвѣтил, что опаздывает встрѣчный курьерскій.

На станціи было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западѣ, за станціей, за чернѣющими лѣсистыми полями, все еще мертвенно свѣтила долгая лѣтняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишинѣ слышен был откуда-то равномѣрный и как-будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

— Однажды я жил в этой мѣстности на каникулах, — сказал он. — Был репетитором в одной дачной усадьбѣ, верстах в пяти отсюда. Скучная мѣстность. Мелкій лѣс, сороки, комары и стрекозы. Вида нигдѣ никакого. В усадьбѣ любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стилѣ и очень запущенный, — хозяева были люди обѣднѣвшіе, — за домом нѣкоторое подобіе сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбѣжная плоскодонка возлѣ топкаго берега.

— И, конечно, скучающая дачная дѣвица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все как полагается. Только дѣвица была совсѣм не скучающая. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже поэтично. Небо на западѣ всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там на горизонтѣ, вот как сейчас, все что-то тлѣет и тлѣет... Весло нашлось только одно и то вродѣ лопаты, и я греб им как дикарь, — то направо, то налѣво. На противоположном берегу было темно от мелкаго лѣса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвѣт. И вездѣ невообразимая тишина — только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что онѣ летают по ночам, — оказалось, что зачѣм-то летают. Прямо страшно.

Зашумѣл наконец встрѣчный поѣзд, налетѣл с грохотом и вѣтром, слившись в одну золотую полосу освѣщенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купэ, освѣтил его и стал готовить постели.

— Ну и что же у вас с этой дѣвицей было? Настоящій роман? Ты почему-то никогда не разсказывал мнѣ о ней. Какая она была?

— Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянскія чуньки на босу ногу, плетенныя из какой-то разноцвѣтной шерсти.

— Тоже, значит, в русском стилѣ?

— Думаю, что больше всего в стилѣ бѣдности. Не во что одѣться, ну и сарафан. Кромѣ того она была художница, училась в Строгановском училищѣ, имѣла склонность к живописному. Да и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спинѣ, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкій правильный нос, черные глаза, черныя брови... Волосы сухіе и жесткіе, слегка курчавятся. Все это, при желтом сарафанѣ и бѣлых кисейных рукавах сорочки, выдѣлялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках — все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

— Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

— Возможно. Тѣм болѣе, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чѣм-то вродѣ черной меланхоліи. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

— А отец?

— Тоже молчаливый и сухой, высокій, отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, котораго я репетировал.

Проводник вышел из купэ, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

— Это что-же за имя?

— Очень простое — Маруся.

— Ну и что-же, ты был очень влюблен в нее?

— Конечно, казалось, что ужасно.

— А она?

Он помолчал и сухо отвѣтил:

— Вѣроятно, и ей так казалось. Но пойдем-ка спать. Я ужасно устал за день

— Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, разскажи хоть в двух словах, чѣм и как ваш роман кончился.

— Да ничѣм. Уѣхал и дѣлу конец.

— Почему-ж ты не женился на ней?

— Очевидно, предчувствовал, что встрѣчу тебя.

— Нѣт, серьезно?

— Ну, потому, что я застрѣлился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в обра-

зовавшейся тѣснотѣ купэ, раздѣлись и с дорожной отрадой легли под свѣжее глянцевитое полотно простынь и на такія-же подушки, все скользившія с приподнятаго изголовья.

Синелиловый глазок над дверью тихо глядѣл в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрѣл в то лѣто...

На тѣлѣ у нея тоже было много маленьких темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тѣло ея волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкій, легкій и в нем так свободно было ея долгому дѣвичьему тѣлу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбѣжала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и цѣловать ея мокрыя узкія ступни — подобнаго счастья не было во всей его жизни. Свѣжій, пахучій дождь шумѣл все быстрѣе и гуще за открытыми на балкон дверями, всѣ спали послѣ обѣда — и как страшно испугал их какой-то черный с металлически-зеленым отливом пѣтух в большой огненной коронѣ, вдруг вскочившій из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, бѣжал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснѣла и отвѣчала насмѣшливым бормотаніем; за столом часто задѣвала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он варениковъ не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит...

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству — весь дом был на ней. Обѣдали в час, и послѣ обѣда она уходила к себѣ в мезонин или, если не было дождя, в сад, гдѣ стоял под березой ея мольберт, и, отмахиваясь от кома-

ров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, гдѣ он послѣ обѣда сидѣл с книгой в косом камышевом креслѣ, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопредѣленной усмѣшкой:

— Можно узнать, какія премудрости вы изволите штудировать?

— Исторію французской революціи.

— Ах, Бог мой! Я и не знала, что у нас дома оказался революціонер!

— А что-ж вы свою живопись забросили?

— Вот-вот и совсѣм заброшу. Убѣдилась в своей бездарности.

— А вы покажите мнѣ что-нибудь из ваших писаній.

— А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

— Вы страшно самолюбивы.

— Есть тот грѣх...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг рѣшительно сказала:

— Кажется, дождливый період наших тропических мѣст кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша правда довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей всѣ дыры забили кугой...

День был жаркій, парило, прибрежныя травы, испещренныя желтыми цвѣточками куриной слѣпоты, были душно нагрѣты влажным теплом, и над ними низко вились несмѣтные блѣднозеленые мотыльки.

Он усвоил себѣ ея постоянный иронический тон и, подходя к лодкѣ, насмѣшливо сказал:

— Наконец-то вы снизошли до меня!

— Наконец-то вы собрались с мыслями отвѣтить мнѣ, — бойко отвѣтила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всѣх сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико

взвизгнула и подхватила сарафан до самых колѣн, топая ногами:

— Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ея голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшагося по дну лодки ужа и, поддѣв его, далеко отбросил в воду.

Она была блѣдна какой-то индусской блѣдностью, родинки на ея лицѣ стали темнѣе, чернота волос и глаз как будто еще чернѣй. Она облегченно передохнула:

— Ох, какая гадость! Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

В первый раз заговорила она с ним просто, и они в первый раз взглянули друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсѣм пришла в себя, улыбнулась и, перебѣжав с носа на корму, весело сѣла. В своем испугѣ она поразила его красотой, сейчас он с нѣжностью подумал: да она совсѣм еще дѣвченка! Но, сдѣлав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку, и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гущѣ подводных трав на зеленыя щетки куги и цвѣтущія кувшинки, все спереди покрывавшія сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сѣл на лавочку посрединѣ, гребя направо и налѣво.

— Правда хорошо? — крикнула она.

— Очень! — отвѣтил он, снимая картуз, и обернулся к ней, стараясь быть сдержанным: — Будьте добры кинуть возлѣ себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все таки протекает.

Она положила картуз к себѣ на колѣни.

— Да не безпокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

— Нѣт, я его буду беречь!

У него опять нѣжно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестѣвшую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слѣпило теплым серебром: парный воздух, зыбкій солнечный свѣт, курчавая бѣлизна облаков, мягко сіявших в небѣ и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок: вездѣ было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мѣшало той бездонной глубинѣ, в которой отражалось небо. Вдруг она опять взвизгнула и лодка повалилась на бок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себѣ, что завалилась вмѣстѣ с лодкой — он едва успѣл вскочить и поймать ее под мышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что дѣлает, поцѣловал в хохочущія губы. Она быстро схватила его за шею и неловко поцѣловала в щеку.

С тѣх пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его послѣ обѣда в сад и спросила:

— Ты меня любишь?

Он горячо отвѣтил, помня поцѣлуи в лодкѣ:

— С перваго дня нашей встрѣчи!

— И я, — сказала она. — Нѣт, сначала ненавидѣла — мнѣ казалось, что ты совсѣм не замѣчаешь меня. Но, слава Богу, все это уже прошлое. Нынче, как всѣ улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнѣе — мама за каждым шагом моим слѣдит, ревнива до безумія.

Ночью она пришла на берег с пледом на рукѣ. От радости он встрѣтил ее растерянно, только спросил:

— А плед зачѣм?

— Какой глупый. Нам же будет холодно. Ну скорѣй садись и греби к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подошли к лѣсу на той сторонѣ, она сказала:

— Ну вот. Теперь иди ко мнѣ. Гдѣ плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я прозябла, и садись. Вот так... Нѣт, погоди, вчера мы цѣловались как-то безтолково, теперь я сначала сама поцѣлую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... вездѣ...

Под сарафаном у нея была только сорочка. Она нѣжно, едва касаясь, цѣловала его в края губ, он, с помутившейся головой, кинул ее на доски кормы. Она изступленно обняла его...

Полежав в изнеможеніи, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она раздѣлась, неясно забѣлѣла в сумракѣ всѣм своим долгим тѣлом и стала завязывать голову косой, подняв руки, показывая темныя мышки и поднявшіяся груди. Завязав, она быстро вскочила на ноги и, плашмя упав в воду, закинула голову назад и шумно заколотила ногами.

Потом он, спѣша, помог ей одѣться и закутаться в плед. В сумракѣ сказочно были видны ея черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смѣл касаться ея, только цѣловал ея руки и молчал от тупого, нестерпимаго счастья. Все казалось, что кто-то есть в темнотѣ прибрежнаго лѣса, молча тлѣющаго кое-гдѣ свѣтляками, — стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это, вѣрно, лягушка выползает на берег, Или еж в лѣсу.

— А если козерог?

— Какой козерог?

— Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лѣсу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мнѣ так хорошо, мнѣ хочется болтать страшныя глупости!

И он опять прижимал к губам ея руки, иногда, благоговѣйно цѣловал холодную грудь. Каким совсѣм новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкаго лѣса зеленоватый полусвѣт, слабо отражавшійся в плоско бѣлѣющей водѣ вдали, рѣзко, сельдереем, пахли росистыя прибрежныя растенія, таинственно, просительно ныли комары — и летали, летали над лодкой и дальше, над этой по ночному свѣтящейся водой, страшныя, безсонныя стрекозы. И все гдѣ-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через недѣлю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то послѣ обѣда, они сидѣли в гостиной и, касаясь головами, смотрѣли картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбила? — тихо спрашивал он, дѣлая вид, что внимательно смотрит.

— Глупый. Ужасно глупый! — шептала она.

Вдруг в столовой послышались мягко бѣгущіе шаги — и на порогѣ встала в черном шелковом истрепанном халатѣ и истертых сафьяновых туфлях ея полоумная мать. Черные глаза ея трагически сверкали. Она вбѣжала как на сцену и крикнула:

— Я все поняла! Я почувствовала, я слѣдила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукавѣ, оглушительно выстрѣлила из стариннаго пистолета, из котораго Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он бросился к ней,

схватил ея цѣпкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь разсѣкла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бѣгут на крик и выстрѣл, стала кричать, с пѣной на сизых губах, еще театральнѣе:

— Только через мой труп перешагнет она к тебѣ! Если сбѣжит с тобой, я в тот же день повѣшусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

— Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза — все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрѣл на него из черной темноты синелиловый глазок над дверью и все с той-же неуклонно рвущейся вперед быстротой несся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался гдѣ то за ним тот печальный полустанок. И уж цѣлых двадцать лѣт тому назад было все это — эти перелѣски, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, вѣдь были еще и журавли — как же он совсѣм было забыл о них! Все было странно, сказочно странно в то удивительное лѣто — и, может быть, всего страннѣе эта пара каких-то никому невѣдомых журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на прибрежье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себѣ совсѣм близко, вплотную и, выгибая тонкія, длинныя шеи, с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрѣли на нее сверху, когда она, мягко и легко разбѣжавшись к ним в своих разновѣтных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки, распустивши по влажной и теплой зелени прибрежья свой желтый сарафан, и с дѣтским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темносѣраго райка. Он смотрѣл на нее и на них издали, в бинокль, и четко видѣл их маленькія блестяшія головки, — даже их костяныя ноздри, скважины крѣпких больших клювов. Кургузыя туловища их с пушистыми пуч-

ками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатыя трости ног не в мѣру длинны — у одного совсѣм черныя, у другого зеленоватыя. Иногда они оба цѣлыми часами стояли на одной ногѣ в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромныя крылья; а порой важно прогуливались, выступали не спѣша и мѣрно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем, когда она подбѣгала к ним, он уже ничего не видѣл — видѣл только ея распустившійся сарафан, со смертной истомой содрогаясь при мысли о ея круглом тѣлѣ под ним, о темных родинках на нем. А в тот послѣдній их день, в то послѣднее их в жизни сидѣніе рядом на диванѣ, над картинками в «Нивѣ», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в первый раз, в лодкѣ, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

— А я так люблю тебя теперь, что мнѣ нѣт ничего милѣе в мірѣ даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкаго одеколона.

За Курском, в вагонѣ-ресторанѣ, когда послѣ завтрака он пил кофе и коньяк, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную дѣвицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу, — отвѣтил он, непріятно усмѣхаясь. — Дачная дѣвица... Amata nobis quantum amabitur nulla!*)

*) Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет.

— Это по латыни? Что это значит?

— Это тебѣ не нужно знать.

— Как ты груб, — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотрѣть в солнечное окно.

27.IX.40.

ТАНЯ

Она служила горничной у его родственницы, мелкой помѣщицы Казаковой, ей шел восемнадцатый год, она была невелика ростом, что особенно было замѣтно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькія груди, ходила босая или, зимой, в валенках, ея простое личико было только миловидно, а сѣрые крестьянскіе глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безразсудно, жизнь вел скитальческую, имѣл особенно много случайных любовных встрѣч и связей — и как к случайной отнесся и к связи с ней...

Она скоро примирилась с тѣм роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в ту осеннюю ночь, нѣсколько дней плакала, но с каждым днем все больше убѣждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милѣе и дороже; в минуты близости, которыя вскорѣ стали повторяться все чаще, уже называла его Петрушей и говорила о той ночи, как об их общем, завѣтном прошлом.

Он сперва и вѣрил и не вѣрил:

— Неужто, правда, ты не притворялась тогда, что спишь?

Но она только раскрывала глаза:

— Да развѣ вы не чувствовали, что я сплю, развѣ не знаете, как ребята и дѣвки спят?

— Если бы я знал, что ты правда спишь, я бы тебя ни за что не тронул.

— Ну, а я ничего, ничего не чуяла, почти до самой послѣдней минуточки! Только как это вам вздумалось придти ко мнѣ? Пріѣхали и даже не взглянули на меня, только уж вечером спросили: ты, вѣрно, недавно нанялась, тебя, кажется, Таней зовут? и потом сколько времени смотрѣли будто без всякаго вниманія. Значит, притворялись?

Он отвѣчал, что, конечно, притворялся, но говорил неправду: все вышло и для него совсѣм неожиданно.

Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заѣхал к Казаковой, прожил недѣли двѣ в успокоительной простотѣ ея усадьбы и скудных дней начала ноября и собрался было уѣзжать. В тот день, на прощанье с деревней, он с утра до вечера ѣздил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и по голым перелѣскам, ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный, с'ѣл за ужином сковороду битков в сметанѣ, выпил графинчик водки и нѣсколько стаканов чаю, пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном мужѣ и о своих двух сыновьях, служивших в Орлѣ. Часов в десять дом, как всегда, был уже темен, только горѣла свѣча в кабинетѣ за гостиной, гдѣ он жил, пріѣзжая. Когда он вошел в кабинет, она со свѣчей в рукѣ стояла на его постели на тахтѣ на колѣнях, водя горящей свѣчей по бревенчатой стѣнѣ. Увидав его, она сунула свѣчу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон.

— Что такое? — сказал он, оторопѣв. — Постой, что ты тут дѣлала?

— Клопа жгла, — отвѣтила она быстрым шепотом. — Стала оправлять вам постель, гляжу, а на стѣнѣ клоп...

И со смѣхом убѣжала.

Он посмотрѣл ей вслѣд и, не раздѣваясь, сняв только длинные сапоги, прилег на стеганное одѣяло на тахтѣ, на-

дѣясь еще покурить и что-то подумать, — засыпать в десять часов было непривычно, — и тотчас заснул. На минуту очнулся, безпокоясь сквозь сон от дрожащаго огня свѣчи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад, полным свѣта, стояла осенняя лунная ночь, пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в сумракѣ возлѣ тахты туфли и пошел в сосѣднюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо, — поставить ему на ночь что нужно забыли. Но дверь прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освѣщенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большія бревенчатыя сѣнцы. В этой прихожей, против высокаго окна над старым рундуком, была перегородка, а за ней комната без окон, гдѣ всегда жили горничныя. Дверь в перегородкѣ была пріотворена, за ней было темно. Он зажег спичку и увидал ее спящую. Она навзничь лежала на деревянной кровати, в одной рубашкѣ и в бумазейной юбченкѣ, — под рубашкой круглились ея груди, ноги были заголены до колѣн, правая рука, откинутая к стѣнѣ, и лицо на подушкѣ казались мертвыми... Спичка погасла. Он постоял, возбуждаясь все больше, и осторожно подошел к кровати...

Выходя через сѣнцы на крыльцо, он лихорадочно думал:

— Как странно, как неожиданно! И неужто она правда спала?

Воображеніе его было полно безпорядочными мыслями.

— Ах, нехорошо, жестоко! Но до чего она прелестна!

Он постоял на крыльцѣ, пошел по двору... И ночь какая-то странная. Широкій, пустой, свѣтло освѣщенный высокой луной двор. Напротив сараи, крытые старой окаменѣвшей соломой, — скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами, на сѣверном небосклонѣ медленно расходятся таин-

ственныя ночныя облака — снѣговыя мертвыя горы. Над головой только легкія бѣлыя, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дѣло выходит на темно-синія прогалины, на звѣздныя глубины неба, и будто еще ярче озаярет крыши и двор. И все вокруг как-то странно в своем ночном существованіи, отрѣшенном от всего человѣческаго, безцѣльно сіяющее. И странно еще потому, что он будто в первый раз видит весь этот ночной осенній мір...

Он сѣл воздѣ каретнаго сарая на подножку тарантаса, закиданнаго засохшей грязью. Собственно ничего особеннаго не произошло и таких неожиданностей было в его жизни не мало... Но нѣт, все-таки не таких...

Было по-осеннему тепло, пахло осенним садом, ночь была торжественна, безстрастна и благостна и как-то удивительно соединялась с тѣми чувствами, что унес он от этого неожиданнаго соединенія с полудѣтским женским существом.

Она тихо зарыдала, придя в себя и будто-бы только в эту минуту поняв то, что случилось. Но, может быть, не будто-бы, а дѣйствительно? Все тѣло ея поддавалось ему как безжизненное. Он сперва шепотом побудил ее: «Послушай, не бойся...» Она не слыхала или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцѣловал ее в горячую щеку — она никак не отозвалась на поцѣлуй, и он подумал, что она молча дала ему согласіе на все, что за этим может послѣдовать.

— А если притворства не было? — подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь.

Когда она зарыдала, сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она дала ему, но и восторга любви, стал цѣловать ее в лицо, в шею, в грудь, все упоительно пахнущее чѣм-то деревенским, дѣвичьим. И она, рыдая, вдруг отвѣтила ему женским безсознательным порывом — крѣпко обняла и прижала к себѣ его голову. Кто он, — она еще не понимала в

полуснѣ, но все равно — это был тот, с кѣм она в нѣкій срок должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость — обоюдная — совершилась и уже ничѣм в мірѣ расторгнута быть не может, и он навѣки унес ее в себѣ, и вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое свѣтлое царство вмѣстѣ с нею, с этой близостью...

Как он мог, уѣзжая, вспоминать ее только случайно, забывать ея милый простосердечный голосок, ея то радостные, то грустные, но всегда любящіе, преданные глаза, как он мог любить других и нѣкоторым из них придавать гораздо больше значенія, чѣм ей!

На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила:

— Что это ты такая, Таня?

Она покорно отвѣтила:

— Мало-ли у меня горя, барыня...

Казакова сказала ему, когда она вышла:

— Да, конечно, сирота, без матери, отец нищій, безпутный мужик.

Перед вечером, когда она ставила на крыльцѣ самовар, он, проходя, сказал ей:

— Ты не думай, я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ни чему не поможешь...

Она отвѣтила, суя в трубу самовара пылающія щепки:

— Как бы правда полюбили, все бы легче было...

— Правда, правда! — сказал он уже искренно.

Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы несмѣло спрашивать взглядом: правда?

Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, вся покраснѣв, прошептала:

— Отойдите за ради Бога. Того гляди, старуха зайдет...

— Какая старуха?

— Да старая горничная, будто не знаете!

— Я к тебѣ нынче ночью приду...

Ее точно обожгло, — первое время старуха приводила ее в ужас:

— Ох, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду!

— Ну, не надо, не бойся, не приду, — сказал он поспѣшно.

Она служила теперь уже по-прежнему, скоро и заботливо, опять стала вихрем носиться через двор в кухню, как носилась прежде, и порой, улучив удобную минуту, тайком бросала на него взгляды уже смущенно-радостные. И вот однажды утром, чѣм свѣт, когда он еще спал, ее отправили в город за покупками. За обѣдом Казакова сказала:

— Что дѣлать, старосту с работником я отослала на мельницу, некого послать за Таней на станцію. Может, ты бы с'ѣздил?

Он, сдержав радость, отвѣтил с притворной небрежностью:

— Что ж, охотно проѣдусь.

Старая горничная, подававшая на стол, нахмурилась:

— За что ж вы, сударыня, хотите дѣвку на вѣк осрамить? Что ж послѣ этого начнут говорить про нее по всему селу?

— Ну поѣзжай сама, — сказала Казакова. — Что-ж ей, пѣшком что ли со станціи идти.

Около четырех он выѣхал, в шарабанѣ, на старой высокой черной кобылѣ, и боясь опоздать к поѣзду, погнал ее за селом шибко, подскакивая по маслянистой, колчеватой, подмерзшей и отсырѣвшей дорогѣ, — послѣдніе дни были влажные, туманные, а в тот день туман был особенно густ: еще когда он ѣхал по селу, казалось, что наступает ночь и в

избах уже видны были дымно-красные огни, какіе-то дикіе за сизостью тумана. Дальше, в полѣ, стало совсѣм почти темно и уже непроглядно. Навстрѣчу тянуло холодным вѣтром и мокрой мглой. Но вѣтер не разгонял тумана, — напротив нагонял все гуще его холодный, темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нѣт ничего — конец міра и всего живого. Картуз, чуйка, рѣсницы, усы, все было в мельчайшем мокром бисерѣ. Черная кобыла косо, размашисто неслась вперед, точно наудачу, безнадежно, шарабан подскакивал по скользким колчам, бил ему в грудь. Он приловчился и закурил — сладкій, душистый, теплый человѣческій дым папиросы смѣшался с первобытным запахом тумана, поздней осени, мокраго, голаго поля. И все темнѣло, все мрачнѣло вокруг, вверху и внизу, — почти не стало видно смутно темнѣющей длинной шеи лошади, ея настороженных ушей. И все усиливалось чувство близости к лошади — единственному живому существу в этой пустыне, в мертвой враждебности всего того, что справа и слѣва, впереди и сзади, всего того невѣдомаго, что так зловѣще скрыто в этой все гуще и чернѣе бѣгущей на него дымной тьмѣ...

Когда он въѣхал в деревню при станціи, его охватила отрада жилья, жалких огней в убогих окошечках, их ласковаго уюта, а на станціи все вокзальное показалось совсѣм иным міром, живым, бодрым, городским. И не успѣл он привязать лошадь, как, гремя, засверкал к вокзалу свѣтлыми окнами поѣзд, обдав сѣрным запахом каменнаго угля. Он побѣжал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену, и тотчас увидѣл, как вошла она, по городскому одѣтая, из противоположных дверей вслѣд за вокзальным сторожем, тащившим два кулька покупок: вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло освѣщавших его, а она вся сіяла возбужденными глазами, юностью взволнованнаго необычным

путешествіем лица, и сторож что-то говорил ей на вы. И она вдруг встрѣтилась с ним взглядом и даже остановилась от растерянности: что такое, почему он тут?

— Таня, — поспѣшно сказал он, — здравствуй, я за тобой, некого было послать...

Был ли когда-нибудь в жизни у нея столь счастливый вечер! Он сам пріѣхал за мной, а я из города, я наряжена и так хороша, как он и представить себѣ не мог, видя меня всегда только в старой юбченкѣ, в ситцевой бѣдной кофточкѣ, у меня лицо как у модистки под этим шелковым бѣлым платочком, я в новом гарусном коричневом платьѣ под модной суконной жакеткой, на мнѣ бѣлые бумажные чулки и новые полсапожки с мѣдными подковками! Вся внутренно дрожа, она постаралась заговорить с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно дивясь: «Ох, Господи, как тут склизко, как натоптали мужики!» Вся замирая от радостнаго страха, высоко подняла она платье над бѣлой коленкоровой юбкой, чтобы сѣсть на юбку, а не на платье, вошла в шарабан и сѣла рядом с ним будто равная ему и неловко подобралась от кульков в ногах.

Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-гдѣ низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги, и она не смѣла проронить слова, ужасаясь его молчанію: уж не разсердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выѣхав за деревню и погрузившись уже в полный мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в лѣвую руку и сжал правой ея плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакеткѣ, бормоча и смѣясь:

— Таня, Танечка...

И она вся рванулась к нему, прижалась к его щекѣ шелковым платком, нѣжным пылающим лицом, полными горячих

слез рѣсницами. Он нашел ея мокрыя от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слѣпой, не видя ни зги в туманѣ и мракѣ, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себѣ за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему и, с быстрой заботливостью подняв весь свой завѣтный наряд, новое платье и юбку, ощупью легла на чуйку, на вѣки отдавая ему не только все свое тѣло, теперь уже полную собственность его, но и всю свою душу.

Он опять отложил свой отъѣзд.

Она знала, что это ради нея, она видѣла, как он ласков с ней, говорит уже как с близкой, как со своим тайным другом в домѣ, и перестала бояться, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнѣе и проще в любовныя минуты — она быстро приладилась к нему. Она вся измѣнилась с той быстротой, на какую способна молодость, сдѣлалась ровна, беззаботно-весела, беззаботно-счастлива, уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцѣлуями: «Ах, Господи, проходу мнѣ от вас нѣту! Чуть завидит меня одну — сейчас ко мнѣ!» и это доставляло ей особенно радостное счастье: значит, он любит меня, значит, он совсѣм мой, если я могу говорить с ним так! И еще было счастье: высказывать ему свою ревность, свое право на него:

— Слава Богу, нѣту никаких работ на гумнѣ у нас, а то были бы дѣвки, я бы вам показала, как ходить к ним! — говорила она.

И прибавляла, вдруг смутившись, с трогательной попыткой улыбки:

— Ай вам мало меня одной?

Зима наступила рано. Послѣ туманов завернул морозный сѣверный вѣтер, сковал маслянистыя колчи дорог, окаменил

землю, сжег послѣднюю траву в саду и на дворѣ. Пошли бѣлесо-свинцовыя тучи, совсѣм обнажившійся сад шумѣл безпокойно, торопливо, точно убѣгал куда-то, ночью бѣлая половинка луны так и ныряла в клубах туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бѣдны и грубы. Потом стал порошить снѣг, убѣляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба и видныя из нея поля стали сизо-бѣлы и просторны. На деревнѣ кончали послѣднюю работу — ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирали их, отбрасывали гнилыя. Как-то он пошел пройтись по деревнѣ, надѣв поддевку на лисьем мѣху и надвинув мѣховую шапку. Сѣверный вѣтер трепал ему усы, жег щеки. Надо всѣм висѣло угрюмое небо, сизобѣлое покатое поле за рѣчкой казалось очень близким. В деревнѣ лежали на землѣ возлѣ порогов веретья с ворохами картошек. На веретьях сидѣли, работая, бабы и дѣвки, закутанныя в пеньковыя шали, в рваных куртках, в разбитых валенках, с посинѣвшими лицами и руками, — он с ужасом думал: а под подолами у них ничего, голыя ноги!

Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящій самовар, чтобы нести его на стол, и тотчас сказала вполголоса:

— Это вы, вѣрно, на деревню ходили, там дѣвки картошки перебирают... Что-ж, гуляйте, гуляйте, высматривайте себѣ какую получше!

И, сдерживая слезы, выскочила в сѣнцы.

К вечеру густо, густо повалил снѣг, и, пробѣгая мимо него по залу, она взглянула на него с неудержимым дѣтским весельем и, дразня, шепнула:

— Что, много теперь нагуляетесь! Да то-ли еще будет — собаки по всему двору катаются — понесет такая кура, что и носу из дому не высунете!

«Господи, подумал он, как же я соберусь с духом сказать ей, что вот-вот уѣду!»

И ему страстно захотѣлось быть как можно скорѣе в Москвѣ. Мороз, мятель, на площади перед Иверской парные голубцы с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокій электрическій свѣт фонарей в снѣжных вихрях... В Большом Московском блещут люстры, разливается струнная музыка, и вот он, кинув мѣховое оснѣженное пальто на руки швйцарам, вытирая бѣлоснѣжным платком мокрые от снѣга усы, привычно, бодро входит по красному ковру в нагрѣтую людную залу, в говор, в запах кушаній и папирос, в суету лакеев и все покрывающія, то распутно-томныя то залихватски-бурныя струнныя волны...

Весь ужин он не мог поднять глаз на ея беззаботную бѣготню, на ея успокоившееся лицо.

Поздно вечером он надѣл валенки, старую енотовую шубу покойнаго Казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу — дохнуть воздухом, посмотрѣть на нее. Но под навѣс крыльца уже нанесло цѣлый сугроб, в котором он споткнулся и набрал цѣлые рукава снѣга, дальше был сущій ад, бѣлое несущееся бѣшенство. Он с трудом, утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца, и, топая, отряхиваясь, вбѣжал в темныя ледяныя сѣнцы, гудѣвшія от бури, потом в теплую прихожую, гдѣ на рундукѣ горѣла свѣча. Она выскочила из-за перегородки босая, в той-же бумазейной юбченкѣ, всплеснула руками:

— Господи! Да откуда-ж это вы!

Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снѣгом, и в сумасшедшем восторгѣ нѣжности схватил ее на руки. Она в таком-же восторгѣ вырвалась, схватила вѣник и стала обивать его бѣлые от снѣга валенки и тащить их с ног:

— Господи, и там полно снѣгу! Вы на-смерть простудитесь!

Он поймал ея руки и, к пущему ужасу и восторгу ея, стал цѣловать их, потом в одних носках убѣжал в кабинет.

Ночью, сквозь сон, он иногда слышал: однообразно шумит с однообразным напором на дом, потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снѣгом в ставни, потрясая их, — и падает, отдаляется, шумит усыпительно... Ночь кажется безконечной и сладкой — тепло постели, тепло стараго дома, одинокаго в бѣлой тьмѣ несущагося снѣжнаго моря...

Утром показалось, что это ночной вѣтер со стуком распахивает ставни, бьет ими в стѣны — открыл глаза — нѣт, уже свѣтло и отовсюду глядят в залѣпленныя снѣгом окна бѣлая, бѣлая бѣлизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолкѣ лежит ея бѣлый отсвѣт. Все еще шумит, несет, но тише и уже по-дневному. С изголовья тахты видны напротив два старых окна с двойными почернѣвшими от времени рамами в мелкую клѣтку, третье, влѣво, бѣлѣе и свѣтлѣе всего. На потолкѣ этот бѣлый отсвѣт, а в углу дрожит, гудит и постукивает втягиваемая разгорающимся огнем мѣдная дверка печки — как хорошо — он спал, ничего не слыхал, а Таня, Танечка, вѣрная, любимая, тихо вошла в валенках, вся холодная, в снѣгу на плечах и на головѣ, закутанной пеньковым платком, и, став на колѣни, затопила. И не успѣл он подумать так, как вошла она, неся поднос с чаем — голова уже раскрыта, глаза открыто-милые, под подолом валенки. С чуть замѣтной улыбкой взглянула, ставя поднос на столик у изголовья, в его по утреннему ясные, со сна точно удивленные глаза:

— Что-ж вы так заспались?

— А который час?

Посмотрѣла на часы на столикѣ и не сразу отвѣтила — до сих пор не сразу разбирает, который час:

— Девять... без десяти минут девять...

Взглянув на дверь, он потянул ее к себѣ за юбку. Она отклонилась, отстраняя его руку:

— Никак нельзя, всѣ проснулись...

— Ну, на одну минутку!

— Старуха зайдет...

— Никто не зайдет — на одну минуту!

— Ах, наказанье мнѣ с вами! Ну только скорѣе...

Быстро вынув одну за другой ноги в шерстяных чулках из валенок, легла, озираясь на дверь... Ах, этот крестьянский запах, этот яблочный холодок щек! Он сердито зашептал:

— Опять ты цѣлуешься со сжатыми губами! Когда я тебя отучу!

— Я не барышня...

И они уставились друг другу в глаза — пристально и безсмысленно, выжидательно.

— Петруша...

— Молчи. Зачѣм ты говоришь всегда в это время!

— Да когда ж мнѣ и поговорить с вами, как не в это время! Я не буду больше губы сжимать... Поклянитесь, что у вас никого нѣту в Москвѣ...

— Не тискай меня так за шею...

— Никто в жизни не будет так любить вас. Вот вы в меня влюбились, а я будто и сама в себя влюбилась, не нарадуюсь на себя... А если вы меня бросите...

Выскочив с горячим лицом под навѣс задняго крыльца на сугробы и вьюгу, она, стоя, присѣла на минуту, потом кинулась навстрѣчу бѣлым вихрям на переднее крыльцо, утопая выше голых колѣн.

В прихожей пахло самоваром. Старая горничная, сидя на рундукѣ под высоким окном в снѣгу до верху, схлебывала с блюдечка и, не отрываясь от него, покосилась:

— Куда это тебя носило? Вся в снѣгу вывалялась.

— Петру Николаевичу чай носила.

— Что ж ты ему в людскую что ль носила?

— Я через заднее крыльцо побѣжала.

— Знаем мы твой чай.

— Ну знаете, и на здоровье. Барыня встали?

— Хватилась! Пораньше тебя.

— И все-то вы сердитесь!

И, счастливо вздохнув, она пошла за перегородку за своей чашкой и чуть слышно запѣла там:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свово милаго встрѣчать...

Днем, сидя в кабинетѣ за книгой, слушая все тот-же то слабѣющій, то угрожающе растущій шум вокруг дома, все больше тонущаго в снѣгах среди со всѣх сторон несущейся молочной бѣлизны, он думал: как стихнет, так уѣду.

Вечером он улучил минуту сказать ей, чтобы она пришла к нему ночью попозднѣе, когда дом крѣпче всего спит, — на всю ночь, до утра. Она покачала головой, подумала и сказала: хорошо. Это было очень страшно, но тѣм слаще. И не надо будет спѣшить убѣгать... То-же чувствовал и он. И волновала еще жалость к ней: и не знает, что это их послѣдняя ночь!

Ночью он то засыпал, то в тревогѣ просыпался: рѣшится ли придти? Тьма дома, шум вокруг этой тьмы, трясутся ставни, в печкѣ то и дѣло завывает... Вдруг он в страхѣ очнулся: не услыхал, — услыхать ее в той преступной осторожности, с которой она пробиралась в густой темнотѣ по дому, нельзя было, — не услыхал, а почувствовал, что она, невидимая, уже стоит у тахты. Он протянул к ней руки. Она молча нырнула под одѣяло к нему. Он слышал, как стучит ея сердце, чувствовал ея озябшія босыя ноги и шептал самыя горячія слова, какія только мог найти и выговорить.

Они долго лежали так, грудь с грудью, все находя друг

у друга губы и цѣлуясь с такой крѣпостью, что больно было зубам, — она помнила, что он не велѣл ей сжимать рот, и, стараясь угодить ему, раскрывала его как галченок.

— Ты, небось, совсѣм не спала?

Она отвѣтила радостным шепотом:

— Ни минуточки. Все ждала...

Нашарив на столикѣ спички, он зажег свѣчу, перебѣжал к дверям в гостиную, запер их на ключ и опять прыгнул в постель. Она в недоумѣніи смотрѣла на него во всѣ глаза:

— Петруша, что ж это вы сдѣлали? А ну-ка старуха придет, попробует дверь, хватится меня, — вѣдь она знает, что вы никогда не запираетесь?

— Чорт с ней, — сказал он, глядя на ея юбченку, маленькія голыя ступни и раскраснѣвшееся личико. — Чорт с ней, я хочу видѣть тебя...

Взяв ее, он не спускал с нея глаз. Она прошептала:

— Я боюсь, — что это вы на меня так смотрите?

— Да то, что лучше тебя на свѣтѣ нѣт. Эта головка, с этой маленькой косой вокруг нея, как у молоденькой Венеры...

Глаза ея засіяли смѣхом, счастьем:

— Какая это Винера?

— Да уж такая... И эта рубашенка...

— А вы купите мнѣ миткалевую... Вѣрно, вы правда меня очень любите!

— Нисколько не люблю. И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей...

— Отчего-ж вам это нравится? Вот вы говорили, что я всегда говорю в это время... а теперь... сами говорите...

Она начала содрогаться, все крѣпче прижимать его к себѣ, хотѣла еще что-то сказать и уже не могла...

Потом он потушил свѣчу и долго лежал молча, курил и

думал: а все таки надо сказать, ужасно, но надо! И чуть слышно начал:

— Танечка...

— Что? — так же таинственно спросила она.

— Вѣдь мнѣ надо уѣзжать...

Она даже поднялась:

— Когда?

— Все таки скоро... очень скоро... У меня есть неотложныя дѣла...

Она упала на подушку:

— Господи!

Его какія-то дѣла гдѣ-то там, в какой-то Москвѣ, внушали ей нѣчто вродѣ благоговѣнія. Но как-же всетаки разстаться с ним ради этих дѣл? И она замолчала, быстро и безпомощно ища в умѣ выхода из этого неразрѣшимаго ужаса. Выхода не было. Хотѣлось крикнуть: «Возьмите меня с собой!» Но она не смѣла — развѣ это возможно?

— Не могу же я вѣк тут жить...

Она слушала и соглашалась: да, да...

— Не могу же я взять тебя с собой...

Она вдруг отчаянно выговорила:

— Почему?

Он быстро подумал: «Да, почему, почему?» И поспѣшно отвѣтил:

— У меня нѣт дома, Таня, я всю жизнь ѣзжу с мѣста на мѣсто. В Москвѣ живу в номерах...

— Зачѣм?

— Затѣм, что я такой родился. И никогда не женюсь...

— Ни на ком, никогда?

Он почувствовал, что она хватается хоть за это единственное утѣшеніе, и повторил:

— Ни на ком, никогда!

И стал горячо говорить:

— Даю тебѣ честное слово, мнѣ, ей Богу, необходимо, очень важныя и неотложныя дѣла. К Рождеству непремѣнно пріѣду, клянусь тебѣ чѣм хочешь...

Она припала головой к нему, полежала, капая на его руки теплыми слезами, и прошептала:

— Ну, я пойду... Скоро свѣтать начнет...

И, поднявшись, стала в темнотѣ крестить его:

— Сохрани вас Царица Небесная, сохрани Матерь Божія!

Прибѣжав к себѣ за перегородку, она сѣла на постель и, прижав к груди руки, слизывая с губ слезы, стала шептать под гул мятели в сѣнцах:

— Господи Батюшка! Царица Небесная! Дай, Господи, чтобы не утихало хоть еще дня два!

Это вот тут, на этой постели, совершилось первое счастье их близости...

Через два дня он уѣхал, — еще проносились по двору утихающіе вихри, но он не мог больше длить тайное мученіе ея и свое и не сдался на уговоры Казаковой подождать хоть до завтра.

И дом и вся усадьба опустѣли, умерли. И представить себѣ Москву и его в ней, его жизнь там, его какія-то дѣла, не было никакой возможности.

На Рождество он не пріѣхал. Что это были за дни! В какой мукѣ неразрѣшающагося ожиданія, в каком жалком притворствѣ перед самой собой, будто и нѣт никакого ожиданія, шло время с утра до вечера! И всѣ святки она ходила в самом лучшем своем нарядѣ — в том платьѣ и в тѣх полсапожках, в которых он встрѣтил ее тогда осенью, на вокзалѣ, в тот незабвенный вечер...

На Крещенье она почему-то жадно вѣрила, что вот-вот

покажутся из под горы мужицкія санки, которыя он наймет на станціи, не прислав письма, чтобы за ним выслали лошадей, весь день не вставала с рундука в прихожей, глядя во двор до боли в глазах. Дом был пуст, — Казакова уѣхала в гости к сосѣдям, старуха обѣдала в людской, сидѣла там и послѣ обѣда, наслаждаясь злословіем перед кухаркой. А она даже и обѣдать не ходила, сказала, что живот болит...

Но вот стало вечерѣть. Она взглянула еще раз на пустой двор в блестящем настѣ и поднялась, твердо сказав себѣ: конец, никого мнѣ больше не нужно, ничего больше не желаю я ждать! — и пошла, наряженная, гуляющим шагом, по залу, по гостиной, в свѣтѣ зимней желтой зари из окон, громко и беззаботно запѣла — с облегченіем конченной жизни:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свово милаго встрѣчать!

И как раз на словах о милом вошла в кабинет, увидала его пустую тахту, пустое кресло возлѣ письменнаго стола, гдѣ когда-то сидѣл он с книгой в руках, и упала в кресло, головой на стол, рыдая и крича на весь дом: «Царица Небесная, пошли мнѣ смерть!»

Он пріѣхал в февралѣ — когда она уже совсѣм похоронила в себѣ всякую надежду увидать его хоть еще один раз в жизни.

И как будто возвратилось все прежнее.

Он был поражен, увидав ее, — так похудѣла и поблекла она вся, так несмѣлы и грустны были ея глаза. Поразилась и она в первую минуту: и он показался ей как будто другим, постарѣвшим, чужим и даже непріятным — усы у него ста-

ли как будто больше, голос грубѣй, его смѣх и разговор, пока он раздѣвался в прихожей, были не в мѣру громки и неестественны, ей неловко было взглянуть ему в глаза... Но оба постарались скрыть все это друг от друга и вскорѣ все пошло по прежнему. Она опять как будто успокоилась, опять стала прибѣгать к нему тайком — оглядываясь, шепча: «Ах, наказанье мнѣ с вами!» От всей души повторяла она себя прежнюю и все прежнее.

Потом опять стало подходить страшное время — время его от'ѣзда. Он поклялся ей на образ, что пріѣдет к Святой и уже на цѣлое лѣто. Она повѣрила; но подумала: «А лѣтом что будет? Опять то же, что теперь?» Этого теперь ей было мало — нужно было или уже совсѣм, совсѣм прежнее, а не повтореніе, или нераздѣльная жизнь с ним, без разлук, без новых мученій, без стыда напрасных ожиданій. Но она старалась гнать от себя эту мысль, старалась представить себѣ все то лѣтнее счастье, когда столько будет им свободы вездѣ, —ночью и днем, в саду, в полѣ, на гумнѣ, и он будет долго, долго возлѣ нея...

Наканунѣ его новаго от'ѣзда ночь была уже предвесенняя, свѣтлая и вѣтрянная. За домом волновался сад и все долетал оттуда разносимый вѣтром злой и безпомощный, отрывистый лай собак над ямой в елках: там сидѣла лисица, которую поймал в капкан и принес на барскій двор лѣсник Казаковой.

Он лежал на тахтѣ на спинѣ, с закрытыми глазами, в косовороткѣ, в шароварах и в носках. Она рядом с ним, на боку, подложив ладонь под грустную головку. Оба молчали. Наконец она прошептала:

— Петруша, вы спите?

Он открыл глаза, посмотрѣл в легкій сумрак комнаты, слѣва озаренный золотистым свѣтом из бокового окна:

— Нѣт. А что?

— А вѣдь вы меня больше не любите, даром погубили, — спокойно сказала она.

Он слегка усмѣхнулся, думая о другом:

— Почему же даром? Не говори глупостей.

— Грѣх вам будет. Куда-ж я теперь дѣнусь?

— А зачѣм тебѣ куда-нибудь дѣваться?

— Вот вы опять уѣдете в эту свою Москву, а что-ж я одна тут буду дѣлать!

— Да все то же, что и прежде дѣлала. А потом — вѣдь я тебѣ сказал: на Святой на цѣлое лѣто пріѣду.

— Да, может и пріѣдете... Только прежде вы мнѣ не говорили таких слов: «а зачѣм тебѣ куда-нибудь дѣваться?» Вы меня правда любили, говорили, что милѣй меня не видали. Да и такая я развѣ была?

Да, не такая, подумал он. Ужасно измѣнилась. Даже тѣлом стала слабѣе, жиже, всѣ косточки слышны...

— Прошло мое времячко, — сказала она. — Вскочу, бывало, к вам, — и боюсь до смерти и радуюсь — «ну, слава Богу, старуха заснула». А теперь и ея не боюсь...

Он пожал плечами:

— Я тебя не понимаю. Дай-ка мнѣ папиросы со столика...

Она подала. Он закурил:

— Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова...

— Вот оттого-то, вѣрно, и немила я вам стала. А чѣм же я больна?

— Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что, подумай, пожалуйста: что такое случилось, откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю? И что ты хочешь от меня? Ты сама не понимаешь, что ты хочешь. И что ж все одно и то же твердить: «бывало, бывало...»

Она не отвѣтила. Свѣтило окно, шумѣл сад, долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущій... Она тихо слѣзла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее:

— Таня.

Она обернулась, отвѣтила чуть слышно:

— Чего вам?

— Поди ко мнѣ.

— Зачѣм?

— Говорю, поди.

Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нея в слезах.

— Ну что вам?

— Сядь и не плачь. Поцѣлуй меня, — ну?

Он сѣл, она сѣла рядом и обняла его, тихо рыдая. «Боже мой, что же мнѣ дѣлать! — с отчаяніем подумал он. — Опять эти теплыя дѣтскія слезы на дѣтском горячем лицѣ... Она даже и не подозрѣвает всей силы моей любви к ней! А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя на вѣки?» И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекочут ему нос и губы:

— Танечка, радость моя, не плачь, послушай: я пріѣду весной на все лѣто и вот, правда, пойдем мы с тобой «во зеленый сад» — я слышал эту твою пѣсенку и во вѣки не забуду ее, — поѣдем на шарабанѣ в лѣс — помнишь, как мы ѣхали на шарабанѣ со станціи?

— Никто меня с тобой не пустит! — горько прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему ты. — И никуда ты со мной не поѣдешь...

Но он уже слышал в ея голосѣ робкую радость, надежду.

— Поѣду, поѣду, Танечка! И никогда не смѣй мнѣ больше говорить вы. И плакать не смѣй...

Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее, легонькую, к себѣ на колѣни:

— Ну скажи: «Петруша, я тебя очень люблю!»

Она тупо повторила, икнув от слез:

— Я тебя очень люблю...

Это было в февралѣ семнадцатаго года. Он был тогда в деревнѣ в послѣдній раз в жизни.

22.X.40.

В ПАРИЖѢ

Когда он был в шляпѣ, — шел по улицѣ или стоял в вагонѣ метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся сѣдиной, по свѣжести его худого бритаго лица, по прямой выправкѣ худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, в котором он ходил лѣто и зиму, ему можно было дать не больше сорока лѣт. Только свѣтлые глаза его смотрѣли с сухой грустью и говорил и держался он как человѣк много испытавшій в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансѣ, наслышался ѣдких провансальских шуток и в Парижѣ любил иногда вставлять их с усмѣшкой в свою всегда сжатую рѣчь. Многіе знали, что еще в Константинополѣ его бросила жена и что живет он с тѣх пор с постоянной раной в душѣ. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, — небрежно шутил, если разговор касался женщин:

— Rien n'est plus diffcile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien.

Однажды, в сырой парижскій вечер поздней осенью, он зашел пообѣдать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возлѣ улицы Пасси. При столовой было нѣчто вродѣ гастрономическаго магазина — он безсознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконникѣ розовыя конусообразныя бутылки с рябиновкой и желтыя кубастыя с зубровкой, блюдо с засохшими

жареными пирожками, блюдо с посѣрѣвшими рубленными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с непріязненным русским лицом. В магазинѣ было свѣтло, и его потянуло на этот свѣт из темнаго переулка с холодной и точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйкѣ и прошел в еще пустую, слабо освѣщенную комнату, прилегавшую к магазину, гдѣ бѣлѣли накрытые бумагой столики. Там он не спѣша повѣсил свою сѣрую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вѣшалки, пошел к столику в самом дальнем углу, разсѣянно сѣл и, потирая худыя руки с рыжими волосатыми кистями, стал разсѣянно читать безконечное перечисленіе закусок и кушаній, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листѣ. Вдруг его угол освѣтился, и он увидал безучастно-вѣжливо подходящую женщину лѣт тридцати, видную, красивую, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в бѣлом передникѣ с прошивками и в черном платьѣ.

— Bonsoir, monsieur, — сказала она пріятным русским голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко отвѣтил:

— Bonsoir... Но вы вѣдь русская?

— Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по французски.

— Да развѣ у вас много бывает французов?

— Довольно много и всѣ спрашивают непремѣнно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

— Нѣт, тут столько всего... Вы уж сами посовѣтуйте мнѣ что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

— Нынче у нас щи флотскія, битки по казацки... можно

имѣть отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

— Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висѣвшій у нея на поясѣ блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нея были очень бѣлыя и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошаго дома.

— Водочки желаете?

— Охотно. Сырость на дворѣ ужасная.

— Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней получки, коркуновскіе огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив бѣлый передник с прошивками на черном платьѣ, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины... полныя губы не накрашены, но свѣжи, на головѣ просто свернутая черная коса, но кожа на бѣлой рукѣ холеная, ногти блестящіе и чуть розовые, — виден маникюр...

— Что я прикажу закусить? — сказал он, улыбаясь. — Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

— А вино какое прикажете?

— Красное. Обыкновенное, — какое у вас всегда дают к столу.

Она отмѣтила на блокнотѣ и переставила с сосѣдняго стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

— Нѣт, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. L'eau gâte le vin comme la charrette le chemin et la femme — l'âme.

— Хорошаго же вы мнѣнія о нас! — безразлично отвѣтила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрѣл ей вслѣд — на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ея черное платье... Да, вѣжливость и безразличіе, всѣ повадки и движенія скромной и достойной служащей. Но

дорогія изящныя туфли. Откуда? Есть, вѣроятно, пожилой, состоятельный ami... Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и послѣдняя мысль возбудила в нем нѣкоторое раздраженіе. Да, из году в год, изо дня в день, втайнѣ ждешь только одного, — счастливой любовной встрѣчи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встрѣчу — и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сѣл за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов, по виду мелких служащих, и вслух повторяла, отмѣчая на блокнотѣ:

— Caviar rouge, salade russe... Deux chachlyks...

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

— Добрый вечер. Пріятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

— Добраго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

— Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

— Николай Платонович.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:

— Нынче у нас чудный разсольник. Повар у нас замѣчательный, на яхтѣ у великаго князя Александра Михайловича служил.

— Прекрасно, разсольник так разсольник... А вы давно тут работаете?

— Третій мѣсяц.

— А раньше гдѣ?

— Раньше была продавщицей в Printemps.

— Вѣрно, из-за сокращенія лишились мѣста?

— Да, по доброй волѣ не ушла-бы.

Он с удовольствіем подумал: «Значит дѣло не в ami», и спросил:

— Вы замужняя?

— Да.

— А муж ваш что дѣлает?

— Работает в Югославіи. Бывшій участник бѣлаго движеніія. Вы, вѣроятно, тоже?

— И бѣлаго и всякаго.

— Это сразу видно. И, вѣроятно, генерал, — сказала она, улыбаясь.

— Бывшій. Теперь пишу исторіи этих войн по заказам разных иностранных издательств... Как же это вы одна?

— Так вот и одна...

На третій вечер он спросил:

— Вы любите синема?

Она отвѣтила, ставя на стол мисочку с борщом:

— Иногда бывает интересно.

— Вот теперь идет в синема "Etoile" какой-то, говорят, замѣчательный фильм. Хотите пойдем посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?

— Мерси. Я свободна по понедѣльникам.

— Ну вот, и пойдем в понедѣльник. Нынче что? Суббота? Значит, послѣзавтра. Идет?

Она сдержанно улыбнулась:

— Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

— Нѣт, ѣду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

— Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснѣл:

— И я к вам. Знаете, на свѣтѣ так мало счастливых встрѣч...

И поспѣшил перемѣнить разговор:

— Итак, послѣзавтра. Гдѣ же нам встрѣтиться? Вы гдѣ живете?

— Возлѣ метро Motte Picquet.

— Видите, как удобно, — прямой путь до Etoile. Я буду вас ждать при выходѣ из метро ровно в восемь с половиной.

— Мерси.

— C'est moi qui vous remercie. Уложите дѣтей, — улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нѣт ли у нея ребенка, — и пріѣзжайте.

— Слава Богу, этого добра у меня нѣт, — отвѣтила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам». Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встрѣча. Только поздно, поздно.

"Le bon Dieu envoie toujours des culottes à ceux qui n'ont pas de derrière".

Вечером в понедѣльник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснѣло. Надѣясь поужинать с ней на Монпарнасѣ, он не обѣдал, зашел в кафэ на Chaussée de la Muette, съѣл сандвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сѣл в такси. У входа в метро Etoile остановил шофера и вышел под дождь на тротуар — толстый, с багровыми щеками шофер довѣрчиво стал ждать его. Из метро несло банным вѣтром, густо и черно поднимался по лѣстницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик рѣзко выкрикивал возлѣ него низким утиным кряканьем названія вечерних выпусков. Внезапно в поднимавшейся толпѣ показалась она. Он радостно двинулся к ней навстрѣчу:

— Ольга Александровна...

Нарядная и модно одѣтая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно подведенные глаза, дамским движеніем подала руку, на которой висѣл зонтик, позахватив другой подол длиннаго вечерняго платья, — он обрадовался еще больше: «вечернее платье, — значит, тоже думала, что послѣ синема поѣдем куда-нибудь», и отвернув край ея перчатки, поцѣловал кисть бѣлой руки.

— Бѣдный, вы долго меня ждали?

— Нѣт, я только что пріѣхал. Идем скорѣй в такси...

И с давно неиспытанным волненіем он вошел за ней в полутемную пахнущую сырым сукном карету. На поворотѣ карету сильно качнуло, внутренность ея на мгновеніе освѣтил фонарь, — он невольно поддержал ее за талію, почувствовал запах пудры от ея щеки, увидал ея крупныя колѣни под вечерним черным платьем, блеск чернаго глаза и полныя в красной помадѣ губы: совсѣм другая женщина сидѣла теперь возлѣ него.

В темном залѣ, глядя на бѣлизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащіе распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

— Вы одна или с какой нибудь подругой живете?

— Одна. В сущности ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тѣх, куда можно зайти на ночь или на часы с дѣвицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нѣт, на четвертом этажѣ красный коврик на лѣстницѣ кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно — ни души нигдѣ, совсѣм мертвый город, Бог знает гдѣ-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отелѣ живете?

— У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давній парижанин. Одно время жил в Провансѣ, снял ферму, хотѣл удалиться от всѣх и ото всего, жить трудами рук своих — и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человѣк, завел кур, кроликов — дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, — очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополѣ бросила.

— Вы шутите?

— Ничуть. Исторія очень обыкновенная. Qui se marie par amour a bonnes nuits et mauvais jours. А у меня и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

— Гдѣ же она теперь?

— Не знаю...

Она долго молчала. По экрану дурацки бѣгал на раскинутых ступнях, в нелѣпо огромных разбитых башмаках и в котелкѣ на бок какой-то подражатель Чаплина.

— Да, вам, вѣрно, очень одиноко, — сказала она.

— Да. Но что-ж, надо терпѣть. Patience — médecine des pauvres.

— Очень грустная médecine.

— Да, невеселая. — До того, — сказал он, усмѣхаясь — что я иногда даже в «Иллюстрированную Россію» заглядывал, — там, знаете, есть такой отдѣл, гдѣ печатается нѣчто вродѣ брачных и любовных объявленій: «Русская дѣвушка из Латвіи скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином» прося при этом прислать фотографическую карточку... «Серьезная дама шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с десятилѣтним сыном, ищет переписки с серьезной цѣлью с трезвым господином не моложе сорока лѣт, матеріально обезпеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна...» Вполнѣ ее понимаю — не обязательна!

— Но развѣ у вас нѣт друзей, знакомых?

— Друзей нѣт. А знакомства плохая утѣха.

— Кто же ваше хозяйство ведет?

— Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себѣ сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит фам де менаж.

— Бѣдный! — сказала она, сжав его руку.

И они долго сидѣли так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мѣст, дѣлая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-мѣловой полосой шел над их головами свѣт из кабинки на задней стѣнѣ. Подражатель Чаплина, у котораго от ужаса отдѣлился от головы проломленный котелок, бѣшено летѣл на телеграфный столб в

обломках допотопнаго автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревѣл на всѣ голоса, снизу, из провала дымнаго от папирос зала, — они сидѣли на балконѣ, — гремѣл вмѣстѣ с рукоплесканіями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

— Знаете что? Поѣдемте куда-нибудь, на Монпарнас, напримѣр, тут ужасно скучно и дышать нечѣм...

Она кивнула головой и стала надѣвать перчатки.

Снова сѣв в полутемную карету и глядя на искристыя от дождя стекла, то и дѣло загоравшіяся разноцвѣтными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышинѣ то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ея перчатки и продолжительно поцѣловал руку. Она посмотрѣла на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными рѣсницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами.

В кафе "Coupole" начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и краснаго бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелѣли. Много курили, пепельница была полна ея окровавленными окурками. Он среди разговора смотрѣл на ея разгорѣвшееся лицо и думал, что она вполнѣ красавица.

— Но скажите правду, — говорила она, — вѣдь были же у вас встрѣчи за эти годы?

— Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

— Была одна долгая и очень тяжелая исторія... Нѣт, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности... Но как вы разошлись с женой?

— Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец греченок, чрезвычайно богатый. И в мѣсяц, два не осталось и слѣда от чистой, трогательной дѣвочки, которая просто молилась на

бѣлую армію, на всѣх на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабакѣ на Пера, получать от него гигантскія корзины цвѣтов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мнѣ с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего...» Милый мальчик! А самой двадцать лѣт. Не легко было забыть ее, — прежнюю, екатеринодарскую...

Когда подали счет, она внимательно просмотрѣла его и не велѣла ему дать больше десяти процентов на прислугу. Послѣ этого им обоим показалось еще страннѣе разстаться через полчаса.

— Поѣдемте ко мнѣ, — сказал он печально. — Посидим, поговорим еще...

— Да, да, — отвѣтила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себѣ.

Ночной шофер, русскій, привез их в одинокій переулок, к под'ѣзду высокаго дома, возлѣ котораго, в металлическом свѣтѣ газоваго фонаря сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в освѣтившійся вестибюль, потом в тѣсный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо цѣлуясь. Он успѣл попасть ключем в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в очень теплый корридор, потом в маленькую столовую, гдѣ в люстрѣ зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталыя. Он предложил еще выпить вина.

— Нѣт, дорогой мой, — сказала она, — ни кофе ни вина я больше пить не могу.

Он стал просить:

— Выпьем только по бокалу, бѣлаго, у меня стоит за окном отличное пуи.

— Пейте, милый, а я пойду раздѣнусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дѣти, вы, я думаю, отлично знали, что раз я

согласилась ѣхать к вам... И, вообще, зачѣм нам разставаться?

Он от волненія не мог отвѣтить, молча провел ее в спальню, освѣтил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горѣли ярко, всюду шло тепло от топок, меж тѣм как по крышѣ бѣгло и мѣрно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного пуи и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальнѣ, в большом зеркалѣ на стѣнѣ напротив, ярко отражалась освѣщенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, бѣлая, крѣпкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.

— Нельзя сюда! — сказала она и, накинув купальный халат и показывая налитыя груди, бѣлый сильный живот и бѣлыя тугія бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ея прохладное тѣло, цѣлуя ея еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску. Так обнимал и всю ночь во снѣ, первую не одинокую за долгіе годы ночь.

Через день, оставив службу, она переѣхала к нему.

Однажды зимой, он уговорил ее взять на свое имя сейф в Ліонском Кредитѣ и положить туда все, что им было заработано за послѣдніе годы.

— Предосторожность никогда не мѣшает, — говорил он, смѣясь. — L'amour fait danser les âmes, и я чувствую себя так, точно мнѣ двадцать лѣт. Но мало ли что может быть...

В этот день она долго плакала за плитой в кухнѣ.

На третій день Пасхи он умер в вагонѣ метро, — читая газету, вдруг откинул к спинкѣ сидѣнья голову, завел глаза...

Когда она, в траурѣ, возвращалась с кладбища, был милый весенній день, кое-гдѣ плыли в мягком парижском небѣ весеннія облака, и все говорило о жизни юной, вѣчной — и о ея, конченой.

Дома она стала убирать квартиру. В корридорѣ, в плакарѣ, увидала его давнюю, давнюю лѣтнюю шинель, сѣрую, на красной подкладкѣ. Она сняла ее с вѣшалки, прижала к лицу и, прижимая, сѣла на пол, вся дергаясь от рыданій и вскрикивая, моля кого-то о пощадѣ.

26.X.40.

НАТАЛИ

I

В то лѣто я впервые надѣл студенческій картуз и был счастлив тѣм особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семьѣ, в деревнѣ, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и тѣлом, краснѣл при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Мещерскій, в монахи!» В то лѣто я уже не краснѣл бы. Пріѣхав домой на каникулы, я рѣшил, что настало и для меня время быть как всѣ, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики, в силу этого рѣшенія да и желанія показать свой голубой околыш, стал ѣздить в поисках любовных встрѣч по сосѣдним имѣніям, по родным и знакомым. Так попал я в имѣніе моего дяди по матери, отставного и давно овдовѣвшаго улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони...

Я пріѣхал поздно, и в домѣ встрѣтила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбѣжал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатикѣ, высоко держа в лѣвой рукѣ свѣчу, подставила мнѣ для поцѣлуя щеку и сказала, качая головой, со своей обычной насмѣшливостью:

— Ах, вѣчно и всюду опаздывающій молодой человѣк!

— Ну, уж на этот раз никак не по своей винѣ, — отвѣтил я. — Опоздал не молодой человѣк, а поѣзд.

— Тише, всѣ спят. Цѣлый вечер умирали от нетерпѣнія, ожиданія и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать разсерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, оставшагося на станціи, очевидно, до утренняго поѣзда, старым дураком, Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась, одна я оказалась терпѣлива и вѣрна тебѣ... Ну, раздѣвайся и пойдем ужинать.

Я отвѣтил, любуясь ея синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой:

— Спасибо, милый друг. Убѣдиться в твоей вѣрности мнѣ теперь особенно пріятно — ты стала совершенной красавицей и я имѣю на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкій халатик, под которым, вѣрно, ничего нѣт!

Она засмѣялась:

— Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вѣчно вспыхивающаго от застѣнчивости мальчишки в очень интереснаго нахала. И это сулило бы нам много любовных утѣх, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

— Да кто это Натали? — спросил я, входя за ней в освѣщенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой лѣтней ночи окнами.

— Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназіи, пріѣхавшая погостить у меня. И вот это уж дѣйствительно красавица, не то что я. Представь себѣ: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черныя солнца, выражаясь по персидски. Рѣсницы, конечно, огромныя и тоже черныя и удивительный золотистый цвѣт лица, плечей и всего прочаго.

— Чего прочаго? — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

— А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться — совѣтую тебѣ залѣзть в кусты, тогда увидишь, чего. И сложена как молоденькая нимфа.

— Что-ж ты, во вред нашему роману, так расхваливаешь ее?

— Умные люди всегда так дѣлают, забѣгают вперед...

На столѣ в столовой были холодныя котлеты, кусок сыру и бутылка краснаго вина.

— Не прогнѣвайся, больше ничего нѣт, — сказала она, садясь и наливая вина мнѣ и себѣ. — И водки нѣт. Ну, дай Бог, чокнемся хоть вином.

— А что именно дай Бог?

— Найти мнѣ поскорѣе такого жениха, что пошел бы к нам «во двор». Вѣдь мнѣ уж двадцать первый год, а выйти куда нибудь замуж на-сторону я никак не могу: с кѣм же останется папа?

— Ну, дай Бог!

И мы чокнулись и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмѣшкой стала глядѣть на меня, на то, как я работаю вилкой, стала как бы про себя говорить:

— Да, ты ничего себѣ, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень измѣнился, стал легкій, пріятный. Только вот глаза бѣгают.

— Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты вѣдь тоже не совсѣм такая была прежде...

И я весело осмотрѣл ее. Она сидѣла с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колѣно на колѣно, немного боком ко мнѣ, под лампой блестѣл ровный загар ея руки, сіяли синелиловые усмѣхающіеся глаза и красновато отливали каштаном густые

и мягкіе волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнувшагося халатика открывал круглую загорѣлую шею и начало полнѣющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара; на лѣвой щекѣ у нея была родинка с красивым завитком черных волос.

— Ну, а что папа?

Она, продолжая глядѣть все с той же усмѣшкой, вынула из кармана маленькій серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с нѣкоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

— Папа, слава Богу, молодцом. По-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает сѣдой кок, тайком подкрашивает чѣм-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю... Только еще больше прежняго и еще настойчивѣе трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чѣм не соглашается, — сказала она и засмѣялась. — Хочешь папиросу?

Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять налила мнѣ и себѣ и посмотрѣла в темноту за открытыми окнами:

— Да, пока все слава Богу. И прекрасное лѣто, — ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебѣ рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выжившій из ума Ефрем к поѣзду. Ждала тебя нетерпѣливѣе всѣх. А потом даже довольна была, что всѣ разошлись и что ты опаздываешь, что мы, если ты пріѣдешь, посидим наединѣ. Я почему-то так и думала, что ты очень измѣнился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствіе — сидѣть одной во всем домѣ в лѣтнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поѣзда, и наконец услыхать, что ѣдут, погромыхивают бубенчиками, подкатывают к крыльцу...

Я крѣпко взял через стол ея руку и подержал в своей, уже чувствуя мучительную тягу ко всему ея тѣлу. Она с

веселым спокойствіем пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:

— Вот ты говоришь — Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, откуда?

— Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В домѣ говорят по англійски и по французски, а ѣсть нечего... Очень трогательная дѣвочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи недалекіе сосѣди твоего милѣшаго кузена Алексѣя Мещерскаго и Натали говорит, что он что-то частенько стал заѣзжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом — богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

— Так, — сказал я, — Но вернемся к дѣлу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

— Натали нашему роману все-таки не помѣшает, — отвѣтила она. — Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а цѣловаться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ея жестокости, а я буду тебя утѣшать.

— Но вѣдь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

— Да, но вѣдь это была обычная влюбленность в кузину и притом уж слишком подколодная, ты тогда только смѣшон и скучен был. Но Бог с тобой, прощаю тебѣ твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра-же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мнѣ завтра рано вставать по хозяйству...

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догорѣвшую свѣчку и повела меня в мою комнату. И на порогѣ этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душѣ дивился и радовался весь ужин, — такой счастливой удачѣ своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю

у Черкасовых, я долго и жадно цѣловал и прижимал ее к притолкѣ, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свѣчу. Уходя от меня с пурпурным лицом, она погрозила мнѣ пальцем и тихо сказала:

— Только смотри теперь: завтра, при всѣх, не смѣть пожирать меня «страстными взорами»! Избавь Бог, если замѣтит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали замѣтила что-нибудь. Я вѣдь очень стыдлива кое в чем, не суди пожалуйста по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказанія, сразу станешь противен мнѣ...

Я раздѣлся и упал в постель с головокруженіем, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсѣм не подозрѣвая, какое великое несчастіе ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впослѣдствіи я не раз вспоминал как нѣкое зловѣщее предзнаменованіе, что, когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтоб зажечь свѣчу, на меня мягко метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свѣтѣ спички ясно увидал ея мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потом с гадким трепетаніем нырнула в черноту открытаго окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.

II

В первый раз я видѣл Натали на другой день утром только мельком: она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, — была еще не причесана и в одной легкой распашенкѣ из чего-то оранжеваго, — и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе и, встав из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишинѣ всего дома. В домѣ было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнатѣ, окнами в тѣневую часть сада, крѣпко выспавшись, с удовольствіем вымылся, одѣлся во все чистое, — особенно пріятно было надѣть новую косоворотку краснаго шелка, — покрасивѣе причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронежѣ, вышел в корридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вмѣстѣ спальню улана. Зная, что он встает лѣтом часов в пять, постучался. Никто не отвѣтил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствіем убѣдился в неизмѣнности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столѣтній серебристый тополь: налѣво вся стѣна в дубовых книжных шкапах, между ними в одном мѣстѣ высятся часы краснаго дерева с мѣдным диском неподвижнаго маятника, в другом стоит цѣлая куча трубок с бисерными чубуками, а над ними висит огромный барометр, в третьем вдвинуто бюро дѣдовских времен с порыжѣвшим зеленым сукном откинутой доски орѣховаго дерева, а на сукнѣ клещи, молотки, гвозди, мѣдная подзорная труба; на стѣнѣ возлѣ двери, над стопудовым деревянным диваном, цѣлая галерея выцвѣтших портретов в овальных рамках; под окном письменный стол и глубокое кресло — то и другое тоже огромных размѣров и дѣдовской старины; правѣе, над широчайшей дубовой кроватью, картина во всю стѣну: почернѣвшій лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем планѣ блещет точно окаменѣвшим яичным бѣлком голая дородная красавица чуть не в натуральную величину, стоящая в полуоборот к зрителю гордым лицом и всѣми выпуклостями полновѣсной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными разставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных склад-

ках. Оглянув все это, я услыхал сзади себя сильный голос улана, с костылем подходившаго ко мнѣ из прихожей:

— Нѣт, братец, меня в эту пору в спальнѣ не найдешь. Это вѣдь вы валяетесь по кроватям до трех дубов.

Я поцѣловал его широкую сухую руку и спросил:

— Каких дубов, дядя?

— Так мужики говорят, — отвѣтил он, мотая сѣдым коком и оглядывая меня желтыми глазами, зоркими и умными. — Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушкѣ, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе...

«Чудесный старик, чудесный дом», думал я, входя за ним в столовую, в открытыя окна которой глядѣла зелень утренняго сада и все лѣтнее благополучіе деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстаго стакана в серебряном подстаканникѣ крѣпкій чай со сливками, я, глядя, как он пьет, придерживая в стаканѣ широким пальцем тонкое и длинное витое стекло круглой золотой старинной ложечки, ѣл ломоть за ломтем черный хлѣб с маслом и все подливал себѣ из горячаго серебрянаго кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, разсказывал о сосѣдях помѣщиках, на всѣ лады браня и высмѣивая их, я притворялся, что слушаю, глядѣл на его усы, баки, на крупные волосы на концѣ носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сидѣлось на мѣстѣ: что это за Натали и как это мы встрѣтимся с Соней послѣ вчерашняго? Чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ея и Натали, обо всем том, что дѣлается в утреннем безпорядкѣ женской спальни... Может, Соня сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нѣчто вродѣ любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей, — отчего же нельзя любить двух? Вот онѣ сейчас войдут во всей своей утренней свѣжести, увидят меня,

мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмѣются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячаго кофейника — молодой утренній аппетит, молодое утреннее возбужденіе, блеск выспавшихся глаз, легкій налет пудры на как будто еще болѣе помолодѣвших послѣ сна щеках и этот смѣх за каждым словом, не совсѣм естественный и тѣм болѣе очаровательный... А перед завтраком онѣ пойдут по саду к рѣкѣ, будут раздѣваться в купальнѣ, освѣщаемыя по голому тѣлу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображеніе всегда было живо у меня, я мысленно видѣл, как Соня и Натали станут, держась за перила лѣсенки в купальнѣ, неловко сходить по ея ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противнаго зеленаго бархата слизи, наросшей на них, как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, рѣшительно упадет вдруг на-воду поднятыми грудями — и, вся странно видная в водѣ голубовато-мѣловым тѣлом, косо разведет в разныя стороны углы рук и ног, совсѣм как лягушка...

— Ну, до обѣда, ты вѣдь помнишь: обѣд в двѣнадцать, — отрицательно качая головой, сказал улан и встал со своим пробритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокій, старчески твердый, в просторном чесучевом костюмѣ и тупоносых башмаках, с костылем в широкой рукѣ, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтобы выйти через сосѣднюю комнату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищеніем. Я вышел на балкон изумленный: в самом дѣлѣ красавица! — и долго стоял там, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но, когда наконец услыхал их в столовой с балкона, вдруг сбѣжал в сад, — охватил какой-то страх не то перед обѣими, с одной из которых я имѣл уже плѣнительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тѣм мгновен-

ным, чѣм она полчаса тому назад ослѣпила меня в своей быстротѣ. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в рѣчной низменности, наконец преодолѣл себя, вошел с напускной простотой и встрѣтил веселую смѣлость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных рѣсниц сіяющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвѣтѣ ея волос:

— Мы уже видѣлись!

Потом мы стояли на балконѣ, облокотясь на каменную баллюстраду, с лѣтним удовольствіем чувствуя, как горячо печет нам раскрытыя головы, и Натали стояла возлѣ меня, а Соня, обняв ее и будто разсѣянно глядя куда-то, с усмѣшкой напѣвала: «Средь шумнаго бала случайно...» Потом выпрямилась:

— Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побѣжала за простынями, а она задержалась и шепнула мнѣ:

— Изволь с нынѣшняго дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебѣ притворяться не надо.

И я чуть не отвѣтил с веселой легкостью, что да, уже не надо, и вмѣстѣ с тѣм поспѣшно и горячо пробормотал:

— Хорошо, хорошо. Но только, ради Бога, зайди ко мнѣ перед уходом хоть на секунду.

Она отвѣтила, качнув головой:

— Нѣт, я ошиблась, — ты глуп. Приду послѣ обѣда.

Когда онѣ вернулись, пошел в купальню я — сперва по длинной березовой аллеѣ, потом среди разных старых деревьев прибрежья, гдѣ тепло пахло рѣчной водой и орали на вершинах грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Сонѣ, о том, что

я буду купаться в той-же водѣ, в которой только что купались онѣ...

Послѣ обѣда среди всего того счастливаго, безцѣльнаго, привольнаго и спокойнаго, что глядѣло из сада в открытыя окна, — небо, зелень, солнце, — послѣ долгаго обѣда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайнѣ замирал от присутствія Натали и от ожиданія того часа, когда затихнет весь дом на послѣобѣденное время, и Соня (вышедшая к обѣду с темнокрасной бархатистой розой в волосах) тайком прибѣжит ко мнѣ, чтобы продолжить вчерашнее уже не на-спѣх и не как нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диванѣ, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное пѣніе птиц в саду, из котораго шел в ставни сладкій от цвѣтов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мнѣ теперь жить в этой двойственности — в тайных свиданіях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядѣть на нее только с тѣм радостным обожаніем, с которым я давеча глядѣл на ея тонкій склоненный стан, на острые дѣвичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагрѣтый солнцем старый камень баллюстрады? Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюарѣ с оборками похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она, в холстинковой юбочкѣ и вышитой малороссійской сорочкѣ, под которыми угадывалось все юное совершенство ея сложенія, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смѣл о возможности поцѣловать ее с тѣми же чувствами, с какими цѣловал вчера Соню. В легком и широком рукавѣ сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ея тонкая рука, к сухо-золотистой кожѣ которой прилегали рыжеватые волосики, — я глядѣл и думал: что испытал бы я, если бы

посмѣл коснуться их губами! И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспѣшно опустил глаза, увидав ея ноги сквозь просвѣчивающій на солнцѣ подол юбки и тонкія, крѣпкія, породистыя щиколки в сѣром прозрачном шелкѣ.

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: «Как, ты спал!» Я вскочил — что ты, что ты, мог ли я спать! — и схватил ея руки. «Запри дверь на ключ...» Я кинулся к двери, она сѣла на диван, закрывая глаза, — «ну, иди ко мнѣ» — и мы сразу потеряли всякій стыд и разсудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркаго тѣла, позволяла цѣловать себя уже всюду — только цѣловать — и все сумрачнѣе закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:

— А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ея темнокрасный бархат стал вялым и лиловым.

III

Жизнь моя пошла внѣшне обыденно, но внутренно я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Сонѣ, к сладкой привычкѣ изнурительно-страстных свиданій с ней по ночам, — она теперь приходила ко мнѣ только поздно вечером, когда весь дом засыпал, — и все мучительнѣе и восторженнѣе слѣдя тайком за Натали, за каждым ея движеніем. Все шло обычным лѣтним порядком: встрѣчи утром, купанье перед обѣдом и обѣд, потом отдых по своим

комнатам, потом сад, — онѣ что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллеѣ и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тѣнистой полянѣ под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой полянѣ, влѣво, вечером прогулки или крокет на широком дворѣ перед домом, — я с Натали против Сони или она с Натали против меня, — в сумерки ужин в столовой... Послѣ ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидѣли в темнотѣ на балконѣ, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать!» — и, простясь с ними, я шел к себѣ, с холодѣющими руками ждал того завѣтнаго часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бѣгут карманные часы у моего изголовья под нагорѣвшей свѣчей, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня Бог, за что дал сразу двѣ любви, такія разныя и такія страстныя, такую мучительную красоту обожанія Натали и такое тѣлесное упоеніе Соней — да и не только тѣлесное: она уже влюблялась в меня, все больше влюблялся в нее и я, чувствовал, что вот-вот мы не выдержим нашей неполной близости, что она вдруг даст мнѣ все и что я совсѣм сойду тогда с ума от ожиданія наших ночных встрѣч и от ощущенія их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вмѣстѣ с тѣм наединѣ говорила мнѣ:

—Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали не достаточно просты. Папа, мнѣ кажется, начинает что-то замѣчать, Натали тоже, а нянька, конечно уже увѣрена в нашем романѣ и небось наушничает папѣ. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я вѣдь замѣчаю, как идіотски ты пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебѣ ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцѣпиться при всѣх тебѣ в волосы, да что же мнѣ дѣлать?

Ужаснѣе всего было то, что, как мнѣ казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливѣе, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, гдѣ она перелистывала ноты, полулежа на диванѣ:

— А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она рѣзко глянула на меня:

— Как это?

— Мой кузен, Алексѣй Николаич Мещерскій...

Она не дала мнѣ договорить:

— Ах, вот что! Ваш кузен, этот упитанный, весь заросшій черными блестящими волосами, картавящій великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мней?

Я испугался:

— Натали, Натали, за что вы так строги ко мнѣ! Даже пошутить нельяз! Ну, простите меня, — сказал я, беря ея руку.

Она не отняла руки и сказала:

— Я до сих пор не понимаю вас... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видать ея томительно влекущих тенисных бѣлых башмаков, вкось подобранных на диванѣ, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнѣл воздух, все шире и ближе шел по саду мягкій лѣтній шум, сладко дуло полевым дождевым вѣтром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то безпричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

— Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

— Что?

— Вдохните — какой вѣтер! Какой радостью могло-бы быть все!

Она помолчала:

— Да.

— Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имѣете против меня?

Она взглянула на меня гордо и строго:

— Что и почему я могу имѣть против вас?

Вечером, лежа в темнотѣ в плетеных креслах на балконѣ, мы всѣ трое молчали, — звѣзды только кое-гдѣ мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны рѣки вялым вѣтром, там дремотно журчали лягушки.

— К дождю, спать хочется, — сказала Соня, подавляя зѣвок. — Нянька сказала, народился молодой мѣсяц и теперь с недѣлю будет «обмываться». — И помолчав, добавила: — Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали твердо откликнулась из темноты:

— Я о любви еще почти ничего не знаю, в одном убѣждена: в страшном различіи первой любви юноши и дѣвушки.

Соня подумала:

— Ну, и дѣвушки бывают разныя...

И рѣшительно встала:

— Нѣт, спать, спать!

Из желанія, чтобы Соня поскорѣе пришла ко мнѣ, я поспѣшил сказать:

—Да, ляжем пораньше, очень, правда, клонит ко сну, и лягушки эти, конечно, к дождю... Пойду и я...

— А я еще подремлю тут, мнѣ ночь нравится, — сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющіеся шаги Сони:

— Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами. Будьте проще и добрѣе...

Она отвѣтила:

— Да, да, мы нехорошо говорили. Да, надо быть проще и добрѣе...

На другой день мы встрѣтились как будто спокойно. Ночью шел тихій дождь, но утром погода разгулялась, послѣ обѣда опять стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня дѣлала какіе-то хозяйственные подсчеты в кабинетѣ улана, мы сидѣли в березовой аллеѣ и пытались продолжать чтеніе вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ея лѣвую руку, видную в рукавѣ, на рыжеватые волоски, прилегавшіе к ней выше кисти и на такіе-же там, гдѣ ея шея сзади переходила в плечо, и читал все оживленнѣе, не понимая ни слова. Наконец сказал:

— Ну, теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой сорочкой обозначились точки ея грудей, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мнѣ затылок и начало плеча, положила книгу на колѣни, стала читать скорым и невѣрным голосом. Я глядѣл на ея поджатыя руки, на колѣни под книгой, думал: «Она показалась мнѣ подростком оттого, что ходит в этих мягких тенисных башмачках», и изнемогал от неистовой любви к звуку ея голоса. В разных мѣстах предвечерняго сада вскрикивали налету иволги, против нас высоко висѣл, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллеѣ среди берез, красновато-сѣрый дятел...

— Натали, какой удивительный цвѣт волос у вас! А коса немного темнѣе, цвѣта спѣлой кукурузы...

Она продолжала читать.

— Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

— Да, да, я его уже видѣла, и нынче видѣла, и вчера видѣла... Не мѣшайте читать.

Я помолчал, потом снова:

— Посмотрите, как это похоже на засохших сѣрых червячков.

— Что, гдѣ?

Я указал ей на скамью между нами, на засохшій птичій известковый помет:

— Правда?

И взял и сжал ея руку, бормоча и смѣясь от счастья:

— Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядѣла на меня, потом недоумѣнно выговорила:

— Но вы же любите Соню!

Я покраснѣл, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспѣшностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

— Это неправда?

— Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, вѣдь мы знаем друг друга с дѣтства!

IV

На другой день она не вышла ни утром ни к обѣду — «Соня, что с Натали?» — спросил улан, и Соня отвѣтила, нехорошо засмѣявшись:

— Лежит все утро в распашенкѣ, нечесанная, по лицу видно, что ревѣла, принесли ей кофе — не допила... Что такое? «Голова болит». — Уж не влюбилась-ли!

— Очень просто, — сказал улан бодро, с одобрительным намеком глянув на меня, но отрицая головой.

Вышла она только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мнѣ привѣтливо и как будто чуть

виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и нѣкоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленаго, цѣльное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехватѣ на таліи, туфельки черные, на высоких каблучках, — я внутренно ахнул от новаго восторга. Я, сидя на балконѣ, просматривал «Историческій Вѣстник», нѣсколько книг котораго дал мнѣ улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и нѣсколько смущенной привѣтливостью:

— Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.

— Как? То вы, то она?

— У меня просто слегка болѣла голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

— До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! — сказал я. И вдруг спросил, краснѣя:

— Вы мнѣ вчера повѣрили?

Она тоже покраснѣла — тонко и ало — и отвернулась:

— Не сразу, не совсѣм. Потом вдруг сообразила, что не имѣю основанія не вѣрить вам... и что в сущности какое же мнѣ дѣло до ваших с Соней чувств? Вѣдь тут мнѣ было непріятно только то, что она сестра вам... Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мнѣ:

— Я заболѣла. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра нѣт. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

— Неужто даже не заглянешь нынче ко мнѣ?

— Нѣт, нѣт, нѣт...

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видать по ночам у себя Сони!

С недѣлю правила домом, всѣм распоряжалась, ходила в бѣлом передничкѣ через двор в поварскую Натали — я никогда еще не видал ее такой дѣловитой, видно было, что роль замѣ-

стительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей истинное удовольствіе и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Всѣ эти дни, пережив за обѣдом сперва тревогу, все-ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик повар и Христя, хохлушка горничная, приносили и подавали во время, не раздражая улана, она послѣ обѣда уходила к Сонѣ, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечерняго чая, а послѣ ужина весь вечер. Оставаться со мной наединѣ она, очевидно, избѣгала и я недоумѣвал, скучал и страдал в одиночествѣ. Почему стала ласкова, а избѣгает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мнѣ? И страстно хотѣлось вѣрить, что себя и я упивался все крѣпнущей мечтой: не на вѣк-же я связан с Соней, не вѣк-же мнѣ — да и Натали — гостить тут, через недѣлю-другую я все равно должен буду ѣхать — и тогда конец моим мученіям... найду предлог поѣхать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой... Уѣхать от Сони да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ея любовь и руку, будет, конечно, очень больно, — равзѣ с одной только страстью цѣлую я Соню, развѣ я не люблю и ее? — но что-же дѣлать, этого, рано или поздно, все равно не избѣжишь... И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волненіи, в ожиданіи чего-то, я старался вести себя с Натали как можно сдержаннѣе, милѣе, расположить ее к себѣ выказываніем своих наилучших качеств — и терпѣть, терпѣть до поры до времени. Я страдал, скучал, — как нарочно дня три шел дождь, мѣрно бѣжал, стучал тысячами лапок по крышѣ, в домѣ было сумрачно, на потолкѣ и на лампѣ в столовой спали мухи, — но крѣпился, по часам сидѣл иногда в кабинетѣ улана, слушая его всякіе разсказы...

Соня начала выходить сперва в халатикѣ, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконѣ в

кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в мѣру нѣжно, не стѣсняясь присутствіем Натали:

— Посиди возлѣ меня, Витик, мнѣ больно, мнѣ грустно, разскажи что-нибудь смѣшное... Мѣсяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; опять распогодилось и как сладко пахнет цвѣтами...

Я, втайнѣ раздражаясь, отвѣчал:

— Раз цвѣты сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по рукѣ:

— Не смѣй возражать больной!

Наконец стала выходить и к обѣду и к вечернему чаю, только еще блѣдная и приказывая подавать себѣ кресло. Но к ужину и на балкон послѣ ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мнѣ послѣ вечерняго чая, когда она ушла к себѣ и Христя понесла со стола самовар в поварскую:

— Соня сердится, что я все сижу возлѣ нея, что вы все один и один. Она еще не совсѣм поправилась, а вы без нея скучаете.

— Я скучаю только без вас, — отвѣтил я. — Когда вас нѣт...

Она измѣнилась в лицѣ, но справилась, с усиліем улыбнулась:

— Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засидѣлись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказанія насчет мѣсяца, слава Богу, не сбылись, ночь будет прекрасная...

— Сонѣ меня жаль, а вам? Нисколько?

— Страшно жаль, — отвѣтила она и неловко засмѣялась, ставя на поднос чайную посуду. — Но, слава Богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нѣт! это просто только ласковое слово! Я пошел к себѣ и долго

лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и безсознательно вышел из усадьбы на широкій шлях, пролегавшій между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше ея, на степном голом взгорьи. Шлях вел в пустыя, вечернія поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слѣва от меня лежала рѣчная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустыя поля, там только что сѣло солнце, горѣл закат. Справа краснѣл против него правильный ряд бѣлых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрѣл то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстрѣчу тянуло то теплым, то почти горячим вѣтром и уже свѣтил в небѣ молодой мѣсяц, блестѣла половина его, не сулившая ничего добраго: как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вмѣстѣ напоминало жолудь.

За ужином — ужинали на этот раз тоже в саду, в домѣ было жарко, — я сказал улану:

— Дядя, что вы думаете о погодѣ? Мнѣ кажется, завтра будет дождь.

— Почему, мой друг?

— Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

— Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

— Вы собираетесь уѣзжать?

Я притворно засмѣялся:

— Не могу-же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

— Вздор, вздор! Папа и мама могут еще потерпѣть разлуку с тобой. Раньше двух недѣль я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.

— Я не имѣю никаких прав на Виталія Петровича, — сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

— Дядя, запретите Натали называть меня так!

Улан хлопнул ладонью по столу:

— Запрещаю. И довольно болтать о твоем от'ѣздѣ. Вот насчет дождя ты прав, вполнѣ возможно, что погода опять испортится.

— В полѣ было уж слишком чисто, ясно, — сказал я. — И мѣсяц очень чист и похож на жолудь и дуло с юга. И вот видите, уже находят облака...

Улан повернулся, посмотрѣл в сад, гдѣ то мерк, то разгорался лунный свѣт:

— Из тебя, Виталій, выйдет отличный Брюс...

Когда он ушел, я еще посидѣл за столом, глядя, как Натали молча помогает Христѣ, уносившей посуду в поварскую. Потом, глупо ухмыляясь, стал декламировать:

А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидѣла она
И слѣдила по тучам игру,
Что, скользя, затѣвала луна...

— Да вы поэт! — с непріязненной усмѣшкой сказала Натали и пошла по свѣтлому двору в поварскую.

В десятом часу она вышла на балкон, гдѣ я сидѣл, ожидая ее, в унынiи думая: да, все это вздор, если у нея и есть какія-то чувства ко мнѣ, то совсѣм не серьезныя, перемѣнчивыя, мимолетныя... Молодой мѣсяц играл все выше и ярче в грудах все больше скоплявшихся облаков, дымчато-бѣлых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из за них своей бѣлой половинкой, похожей на человѣческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-блѣдное, все озарялось, заливалось фосфорическим свѣтом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то:

Натали стояла на порогѣ, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

— Вы еще не спите?

— Но вы же мнѣ сказали...

— Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллеѣ и я пойду спать.

Я пошел за ней, она пріостановилась на ступенькѣ балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч поднимались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молніями. Потом вошла под длинный прозрачный навѣс березовой аллеи, в пятна свѣта и тѣни. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Как волшебно блестят вдали березы. Нѣт ничего страннѣе и прекраснѣе внутренности лѣса в лунную ночь и этого бѣлаго шелковаго блеска березовых стволов в его глубинѣ...

Она остановилась, в упор мнѣ чернѣя в сумракѣ глазами:

— Вы правда уѣзжаете?

— Да, пора.

— Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уѣзжаете.

— Натали, можно мнѣ пріѣхать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?

Она промолчала. Я взял ея руки, поцѣловал, весь замирая, правую.

— Натали...

— Да, да, я вас люблю — сказала она, поспѣшно и невыразительно.

Я взял ее за талію, она отклонила голову, я коснулся ея рта. Она не отвѣтила ни малѣйшим движеніем губ, я уронил руки, и она пошла назад, к дому. Я лунатически пошел за ней.

— Уѣзжайте завтра-же, — сказала она на ходу, не оборачиваясь. — Я вернусь домой через нѣсколько дней.

VI

Войдя к себѣ, я, не зажигая свѣчи, сѣл на диван и застыл, оцѣпенѣл в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно совершилось в моей жизни. Я сидѣл, потеряв всякое представленіе о мѣстѣ и времени. Комната и сад уже потонули в темнотѣ от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумѣло, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту-же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромнаго свѣта все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свѣжим вѣтром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом закрыл одно за другим окна, преодолѣвая трепавшій меня вѣтер, и на цыпочках побѣжал по темным коридорам в столовую: мнѣ, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, гдѣ буря могла перебить стекла, но я все-таки побѣжал и даже с большой озабоченностью. Всѣ окна в столовой и гостиной оказались закрыты — я увидал это в том зелено-голубом озареніи, в цвѣтѣ, яркости и силѣ котораго было по-истинѣ что-то неземное, сразу раскрывшееся всюду, точно быстрые глаза, и дѣлавшее огромными и видимыми до послѣдняго переплета всѣ оконныя рамы, а затѣм тотчас же все затоплявшее густым мраком, на секунду оставляя в ослѣпшем зрѣніи слѣд чего-то жестяного, потом краснаго. Когда же ощупью поспѣшил назад, — непонятно, почему я не зажег свѣчу и не побѣжал в столовую с ней, — вѣрно, в согласіи с тѣм таинственным, что творилось вокруг дома, — когда быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шопот:

— Гдѣ ты был? Мнѣ страшно, зажги скорѣй огонь...

Я чиркнул спичкой и увидѣл сидѣвшую на диванѣ Соню в одной ночной рубашкѣ, в туфлях на босу ногу.

— Или нѣт, нѣт, не надо, — поспѣшно сказала она, — иди скорѣй ко мнѣ, обними меня, я боюсь...

Я покорно сѣл и обнял ее за холодныя плечи. Она зашептала:

— Ну поцѣлуй же меня, поцѣлуй, я цѣлую недѣлю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана.

В ту же минуту на порогѣ растворенной двери появилась Натали в своей распашенкѣ, со свѣчей в рукѣ. Она сразу увидала нас, но все-таки безсознательно крикнула тѣ приготовленныя слова, с которыми выбѣжала из своей спальни:

— Соня, гдѣ ты? Я страшно боюсь...

И тотчас же исчезла. Соня кинулась вслѣд за ней.

Через год она вышла за Мещерскаго. Вѣнчали ее в его Благодатном при пустой церкви — и мы и прочіе родные и знакомые с его и с ея стороны получили только извѣщенія о свадьбѣ. И обычных послѣ свадьбы визитов молодые не дѣлали, тотчас уѣхали в Крым.

В январѣ слѣдующаго года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном Собраніи в Воронежѣ. Я проводил святки дома, нарочно остался в деревнѣ до бала и пріѣхал в тот вечер в город. Поѣзд пришел весь бѣлый, дымящійся снѣгом от вьюги, по дорогѣ со станціи и в городѣ, пока извощичьи санки несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшіе сквозь вьюгу огни фонарей, но послѣ деревни эта городская вьюга и городскіе огни возбуждали, сулили близкое удовольствіе войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодѣваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до разсвѣта. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ея

замужества, я постепенно оправился, — во всяком случаѣ привык к тому состоянію душевно-больного человѣка, которым втайнѣ был, и внѣшне жил как всѣ.

Когда я пріѣхал, бал только начался, но уже полны были все прибывающим народом парадныя лѣстницы и площадка на ней, а из главной залы, с ея хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свѣжій с мороза, в новеньком мундирѣ и от этого не в мѣру изысканно, с излишней вѣжливостью пробираясь в толпѣ по красному ковру лѣстницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стѣснившуюся перед дверями залы, и зачѣм-то стал пробираться дальше с такой настойчивостью, что меня приняли, вѣрно, за распорядителя, имѣющаго в залѣ неотложное дѣло, и всячески стали помогать мнѣ. И я наконец пробрался, остановился на порогѣ, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсѣ, — и вдруг подался назад: из всей этой кружившейся толпы внезапно выдѣлилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летѣвшая среди всѣх прочих все ближе ко мнѣ. Я отшатнулся, глядя, как он, нѣсколько сутулый в вальсированіи, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах нѣкоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическѣ, в бальном бѣлом платьѣ и стройных золотых туфельках, кружившаяся нѣсколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в бѣлой перчаткѣ до локтя таким изгибом, который дѣлал руку похожей на шею лебедя. На мгновеніе черныя рѣсницы ея взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсѣм близко, но тут он, со старательностью грузнаго человѣка, но ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ея пріоткрылись

вздохом на поворотѣ, — тѣ губы, которых я когда-то лишь коснулся, — серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли плавными глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадкѣ, выбрался из нея, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсѣм пустой и прохладной, видны были стоявшія в праздном ожиданіи за буфетом с шампанским двѣ курсистки в малороссійских нарядах, — хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше ея ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Онѣ, столкнувшись головами и засмѣявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерѣшительно переглянулись — откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу — Gaudeamus igitur — остальное допил бокал за бокалом один. Онѣ смотрѣли на него сперва с удивленіем, потом с жалостью:

— Ой, но вы и так страшно блѣдный!

Я допил и тотчас уѣхал. В гостиницѣ спросил в номер бутылку кавказскаго коньяку и стал пить чайными чашками, в надеждѣ, что у меня разорвется сердце.

И прошло еще полтора года. И однажды в концѣ мая, когда я опять пріѣхал из Москвы домой, нарочный со станціи привез телеграмму из Благодатнаго: «Сегодня утром Алексѣй Николаевич скоропостижно скончался от разрыва сердца». Отец перекрестился и сказал:

— Царство Небесное. Какой ужас. Прости меня Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Вѣдь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль — вдова в такіе годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал, — он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мнѣ, — но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я ни мама ѣхать при нашей

старости за полтораста верст, конечно, не можем, надо ѣхать тебѣ...

Отказаться было нельзя, — в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезуміи, в которое опять вдруг повергла меня эта удивительная вѣсть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встрѣчи был страшный, но законный.

Мы послали отвѣтную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарею, лошади из Благодатнаго в полчаса доставили меня со станціи в усадьбу. В'ѣзжая в нее по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стѣнѣ дома, обращенной к еще свѣтлому закату за лугами, всѣ окна закрыты ставнями, и содрогнулся от того, что рѣшился поѣхать, — за ними лежал он и была она! Во дворѣ, густо заросшем молодой кудрявой травой, погромыхивали бубенчиками возлѣ каретнаго сарая чьи-то двѣ тройки, но не было ни души, дромѣ кучеров на козлах, — и пріѣзжіе и дворня уже стояли в домѣ на панихидѣ. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свѣжесть и новизна всего — полевого и рѣчного воздуха, этой молодой густой травы во дворѣ, густого цвѣтущаго сада, надвинувшагося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльцѣ, у настежь раскрытых в сѣни дверей, стоймя прислонена была к стѣнѣ большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодкѣ вечерняго воздуха сильно пахло сладким цвѣтом груш, молочно бѣлѣвших своей бѣлой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклонѣ, гдѣ горѣл один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ея красотѣ и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мнѣ сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью — как вступить в этот дом,

вновь увидать ее лицом к лицу послѣ трех лѣт разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свѣчными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавіем в передній угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным, текучим блеском трех высоких церковных свѣчей, — вошел под возгласы и пѣніе священнослужителей, с кажденіем и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видѣть желтой парчи на гробѣ и лица покойника, пуще же всего боясь увидѣть ее. Кто-то подал мнѣ зажженную свѣчу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, грѣет и освѣщает мнѣ лицо, стянутое блѣдностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцаніе кадила, исподлобья видя плывущій к потолку торжественно и приторно пахнущій дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, — впереди всѣх, в траурѣ, со свѣчей в рукѣ, озарявшей ея щеку и золотистость волос, — и уже, как от иконы, не мог оторвать от нея глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свѣчами и всѣ осторожно задвигались и пошли цѣловать ея руку, я ждал, чтобы подойти послѣдним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ея чернаго платья, дѣлавшаго ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, рѣсниц и глаз, тотчас же при видѣ меня опустившихся, низко, низко поклонился, цѣлуя ея руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, слѣдуя приличію и родству, и попросил разрѣшенія тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротондѣ, в которой я ночевал еще гимназистом, пріѣзжая в Благодатное, — там была спальня Мещерскаго на жаркія лѣтнія ночи. Она отвѣтила, не поднимая глаз:

— Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, послѣ отпѣванія и погребенія, я немедля уѣхал.

Прощаясь, мы опять обмѣнялись только нѣсколькими словами и опять не глядѣли друг другу в глаза.

VII

Я кончил курс, потерял вскорѣ послѣ того почти одновременно отца и мать, поселился в деревнѣ, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Глашей, выросшей у нас в домѣ и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вмѣстѣ с Иваном Лукичем, нашим бывшим дворовым, сѣдым до зелени стариком с большими лопатками, служила мнѣ. Вид она имѣла еще полудѣтскій — маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвѣта сажи, загадочно-молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец говорил: «Вот, вѣрно такая была Агарь». Мила она была безконечно, я любил носить ее на руках, цѣлуя; я думал: «вот и все, что осталось мнѣ в жизни!» и она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, — маленькаго, черненькаго мальчика, — и перестала служить, поселилась в моей прежней дѣтской, я хотѣл повѣнчаться с нею. Она отвѣтила:

— Нѣт, мнѣ этого не нужно, мнѣ только стыдно будет перед всѣми, какая-же я барыня! А вам зачѣм? Вы меня тогда еще скорѣй разлюбите. Вам надо поѣхать в Москву, а то вы совсѣм соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, — сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нея сосал грудь. — Поѣзжайте, поживите в свое удовольствіе, только одно помните: если влюбитесь в кого как слѣдует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вмѣстѣ с ним.

Я посмотрѣл на нее — ей не вѣрить было невозможно. И поник головой: да, а мнѣ вѣдь всего двадцать шесть лѣт...

Влюбиться, жениться — этого я и представить себѣ не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мнѣ о моей конченной жизни.

Ранней весной я уѣхал в Париж и провел там мѣсяца четыре. Возвращаясь в концѣ іюня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревнѣ, а на зиму опять куда-нибудь уѣду. По дорогѣ из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот и опять я дома, а зачѣм? Вспомнил Натали — и развел руками: да, да, та любовь «до гроба», которую насмѣшливо предрекала мнѣ Соня, существует; только я уж привык к ней, вродѣ того как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрѣзали, напримѣр, руку... И, сидя на вокзалѣ в Тулѣ в ожиданіи пересадки, послал телеграмму: «Ѣду из Москвы мимо вас, буду на вашей станціи в девять вечера, позвольте заѣхать, узнать, как вы поживаете».

Она встрѣтила меня на крыльцѣ, — сзади нея свѣтила лампой горничная, — и с полуулыбкой протянула мнѣ обѣ руки:

— Я страшно рада!

— Как это ни странно, вы еще немного выросли, — сказал я, цѣлуя и чувствуя их уже с мученіем. И взглянул на нее на всю при свѣтѣ лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком послѣ небольшого дождя воздухѣ, кружились мелкія розовыя бабочки: черные глаза смотрѣли теперь тверже, увѣреннѣе, вся она была уже в полном расцвѣтѣ молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платьѣ из зеленой чесучи.

— Да, я все еще росту, — отвѣтила она, грустно усмѣхаясь

В залѣ по-прежнему висѣла в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иокнами, только не зажженная. Я поспѣшил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник

на спиртовкѣ, блестѣла тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, высокій графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник:

— Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте... Вы сейчас из Москвы? Почему? Что-ж там дѣлать лѣтом?

— Возвращаюсь из Парижа.

— Вот как! И долго там пробыли? Ах, еслиб я могла поѣхать куда-нибудь! Но вѣдь моей дѣвочкѣ всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволенія курить.

— Ах пожалуйста!

Я закурил и сказал:

— Натали, не нужно вам быть со мной свѣтски любезной, не обращайте на меня особеннаго вниманія, я заѣхал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости — вѣдь все, что было, быльем поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видѣть, что я опять ослѣплен вами, но теперь вас никак не может стѣснять мое восхищеніе — оно теперь безкорыстно и спокойно...

Она склонила голову и рѣсницы, — к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, — и лицо ея стало медленно розовѣть.

— Это совершенно точно, — сказал я, блѣднѣя, но крѣпнущим голосом, сам себя увѣряя, что говорю правду. — Вѣдь все-таки все на свѣтѣ проходит. Что же до моей страшной вины перед вами, то я увѣрен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо болѣе понятна, простительна, чѣм прежде: вина моя была все-таки не совсѣм вольная и даже и в ту пору заслуживала снисхожденія по моей крайней молодости и по тому удивительному стеченію обстоятельств,

в которое я попал И потом, я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью.

— Гибелью?

— А развѣ не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она не отвѣтила, помолчала.

— Я видѣла вас на балу в Воронежѣ... Как еще молода была я тогда и как удивительна несчастна! — Хотя развѣ бывает несчастная любовь? — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всѣм черным раскрытіем глаз и рѣсниц. — Развѣ самая скорбная в мірѣ музыка не дает счастья? — Но разскажите мнѣ о себѣ, неужели вы навсегда поселились в деревнѣ?

Я с усиліем спросил:

— Значит, вы тогда меня еще любили?

— Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

— Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

— Это не любовь, — сказал я. — Страшная жалость, нѣжность, но и только.

— Раскажите мнѣ все.

И я разсказал все — вплоть до того, что сказала Глаша, посовѣтовавши мнѣ «поѣхать, пожить в свое удовольствіе». И кончил так:

— Теперь вы видите, что я всячески погиб...

— Полноте! — сказала она, думая что-то свое. — У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалѣет, не то что себя.

— Не в бракѣ дѣло, — сказал я. — Бог мой! Мнѣ жениться!

Она в раздумьи посмотрѣла на меня:

— Да, да. И как странно. Ваше предсказаніе сбылось — мы породнились. Вы чувствуете, что вѣдь вы мнѣ двоюродный брат теперь?

Мнѣ как-то никогда не приходило это в голову с полной ясностью, я впервые вдруг почувствовал это и взглянул на нее с еще болѣе острой, осложнившейся страстью. Она положила руку на руку мнѣ:

— Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нѣт, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильонѣ приготовлена...

Я покорно поцѣловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно свѣтло от мѣсяца, низко стоявшаго за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сѣл у раскрытаго окна, в кресло возлѣ постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заѣхал, понадѣялся на свое спокойствіе, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь — еще теплѣе, мягче стал воздух. И в прелестном соотвѣтствіи с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пѣли вдали, в разных мѣстах села, первые пѣтухи. Свѣтлый круг мѣсяца, стоявшаго против павильона за садом, как будто замер на одном мѣстѣ, как будто выжидательно глядѣл, блестѣл среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мѣшая свой свѣт с их тѣнями. Там, гдѣ свѣт проливался, было ярко, стеклянно, в тѣни-же пестро и таинственно. И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестѣвшем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом мѣсяц сіял уже над садом и смотрѣл прямо в ро-

тонду, и мы поочередно говорили — она, лежа на постели, я, стоя на колѣнях возлѣ и держа ея руку:

— В ту страшную ночь с молніями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кромѣ самой восторженной и чистой к тебѣ, во мнѣ не было.

— Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молніи тотчас воспоминанія о том, что за час перед тѣм было в аллеѣ...

— Нигдѣ в мірѣ нѣт тебѣ подобной. Когда я давеча смотрѣл на эту зеленую чесучу и на твои колѣни под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновеніе к ней губами, только к ней. И вот я только что касался ими того самаго сокровеннаго твоего, о чем прежде даже думать не мог без сердечной дурноты.

— Все это теперь твое навѣки. Ты никогда, никогда не забывал меня всѣ эти годы?

— Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышешь. И ты правду сказала: нѣт несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашенка и вся ты, еще дѣвочка, мелькнувшая мнѣ в то утро, первое утро моей любви к тебѣ! Потом твоя рука в рукавѣ малороссійской сорочки. Потом наклон твоей головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»

— Да, да.

— А потом ты на балу — такая высокая и такая страшная в своей уже женской красотѣ, — как хотѣл я умереть в ту ночь в восторгѣ своей любви и погибели! Потом ты со свѣчей в рукѣ, твой траур и твоя непорочность в нем. Мнѣ казалось, что святой стала та свѣча у твоего лица.

— И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже ви-

дѣться мы будем рѣдко — развѣ могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всѣх любовницей?

В декабрѣ она умерла на Женевском озерѣ в преждевременных родах.

4.IV.41.

«Темныя Аллеи» выходят без авторской корректуры. Издательство не имѣет, к сожалѣнію, возможности снестись с И. А. Буниным. Между тѣм, оно вынуждено было раздѣлить книгу знаменитаго писателя на два тома. Настоящій том заключает в себѣ лишь половину разсказов, составляющих эту книгу. Автор ея естественно не несет никакой отвѣтственности за раздѣл и за другіе недостатки, которые могут быть у изданія. Редакціонная коллегія «Новой Земли» считает себя обязанной довести об этом до свѣдѣнія читателей, в надеждѣ, что они, как и сам И. А. Бунин, примут во вниманіе исключительныя условія нашего времени.

От Издательства.

Май, 1943 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ:

ТЕМНЫЯ АЛЛЕИ	9	стр.
КАВКАЗ	15	»
БАЛЛАДА	21	»
АПРѢЛЬ	29	»
СТЕПА	43	»
МУЗА	49	»
ПОЗДНІЙ ЧАС	57	»
РУСЯ	67	»
ТАНЯ	79	»
В ПАРИЖѢ	101	»
НАТАЛИ	113	»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»:

Андрей Сѣдых — «Дорога через Океан» ..... 1 д. 50 с.

С. Поляков-Литовцев — «Мессія без народа» .... 1 д. 50 с.

Ив. Бунин — «Темныя аллеи» ..... 1 д. 50 с.

Заказы следует направлять в издательство «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

"Novoye Russkoye Slovo"
413 East 14th Street, New York City

13
12
GRENICH PRINTING CORP.
151 WEST 25TH STREET
NEW YORK, N. Y.
166

*RC9.B8834.943t

THE HOUGHTON LIBRARY

8 July 1943